

РАСЩЕПЛЕНИЕ

ЯДРА

Андрей Бинев



*Политика - хочу. Экономика - имею.
Власть - что хочу, то и имею.*

Андрей Бинев
Расщепление ядра

«Автор»

Бинев А.

Расщепление ядра / А. Бинев — «Автор»,

«Даниил Романович Любавин уже третьи сутки восседал на ослепительной вершине успеха. Полгода назад он и не предполагал, что над миром может возвышаться пик выше того, который он уже покорил в третий раз. Оказалось, что облака скрывают высоты также обыкновенно, как темные ущелья, глубокие пропасти и провалы. Нет высотных пределов, как нет и дна в расщелинах. Сверлила лишь одна мысль, не давая покоя. На ум приходило что-то вроде игральной карты. Например, крестовый валет. Где верх, а где низ? Ясный взор, прямой и чистый, аккуратные усики, густые локоны, ниспадающие на плечи, кокетливый берет, спокойная рука с аркебузой, щит на плече, алый кафтан, под ним кофта с белым аккуратным воротничком, застегнутая на два ряда пуговиц, черный крест в левом углу с жирной черной буквой «В», крестик поменьше под ней, еще меньший на стальном лезвии аркебузы. Это как медальки или гербы. Поясная черта...»

© Бинев А.

© Автор

Содержание

Часть первая	6
Скучная рубашка	6
Джокер	11
Ким Приматов	18
Ссылка	23
Новые пространства	30
Антон Спиноза	34
Стратегия	45
«На ход ноги»	51
Новые условия	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Андрей Бинев

Расщепление ядра

«Наша жизнь – лишь перевод узнаваемого оригинала»

Иван Динков

(«Лирика» пер. с болгарского)

Политика – хочу.

Экономика – имею.

Власть – что хочу, то и имею.

Страшна та «свобода», которая дается одним за счет того, что отнимается у других. Так было в средневековой Европе, в петровской и екатерининской Руси, в нацистской Германии, в фашистской Италии, во франкиской Испании, в салазарской Португалии, в ленинском и сталинском СССР. Свобода карать, но не свобода жить. Такая «свобода» всегда приходит из рабства и невежества, а возвращена она на мерзостных удобрениях в убогих полях политических интриг.

Автор

Даниил Романович Любавин уже третьи сутки восседал на ослепительной вершине успеха. Полгода назад он и не предполагал, что над миром может возвышаться пик выше того, который он уже покорил в третий раз. Оказалось, что облака скрывают высоты также обыкновенно, как темные ущелья, глубокие пропасти и провалы. Нет высотных пределов, как нет и дна в расщелинах.

Сверлила лишь одна мысль, не давая покоя. На ум приходило что-то вроде игровой карты. Например, крестовый валет. Где верх, а где низ?

Ясный взор, прямой и чистый, аккуратные усики, густые локоны, ниспадающие на плечи, кокетливый берет, спокойная рука с аркебузой, щит на плече, алый кафтан, под ним кофта с белым аккуратным воротничком, застегнутая на два ряда пуговиц, черный крест в левом углу с жирной черной буквой «В», крестик поменьше под ней, еще меньший на стальном лезвии аркебузы. Это как медальки или гербы. Поясная черта.

Переворачиваешь – то же самое, зеркальное отражение. Кто и чье отражение, кто оригинал, кто подделка, кто на вершине, а кто в расщелине?

На тылу карты клетчатая рубашка, одна на двоих. Не снимаемая, однообразная, единая.

И так не только с валетом, но и с каждой мастью, и вообще с каждой картой, хранящей умиротворенное лицо человека. Считаешь себя валетом, будь им. Считаешь королем, будь. Если ты дама, будь ею. Одна оригинал – другая отражение. Какая оригинал?

Не отражаются тузы, а также карты от двойки до десятки и джокеры. Джокеры – единственные, кто имеют лицо, но не имеют отражения, не имеют карточной тени. С лицом – без тени. И без масти.

Если уж избрал образ, то лучше джокера не найдешь. Или туза. Но туз без лица, без фигуры. А джокер – характер.

Однако же сзади у всех одна скучная клетчатая рубашка.

Часть первая Старый век

Скучная рубашка

Жизнь проста при взгляде на нее со стороны и удручающе сложна, если хотя бы попытаться разобраться в ее фрагментах. Как они взаимодействуют, как сочетаются, отталкиваются и притягиваются?

Простая жизнь – это еда, вожделение и сон. А на тыльной стороне – скучная рубашка карточной колоды. Перевернешь – лица, масти, числа. Разбросает по столу, один бьет другого, дружит с третьим, масть заявляет о том, что даже ее шестерки сильнее чужих тузов, потому что козырные. Только хитрящие джокеры нагло ухмыляются.

В школе Даниил Любавин играл в несколько карточных игр, из тех, что попроще и быстрее. Блефовал, рисковал в меру и чаще всего срывал банк. Один раз, рассердившийся на свою неудачу, мелкий квартальный шалопай и хулиган Прошка неожиданно двинул Любавину. Швырнул карты на пыльную, истоптанную землю под кривым деревянным, облупленным столом и выкинул вперед острый, костистый кулак. Попал в нос Любавину. Брызнула кровь, нос съехал на сторону. Любавин отшатнулся, утер лицо рукавом, потом сунул руку в карман, достал перочинный нож и резанул им Прошку по плечу. Нож был тупой, поэтому порвал плечо сильно. Прошка завыл в голос и, обхватив плечо другой рукой, трусливо бежал. Нос у Любавина не заживал недели две, не меньше. Днем позже после драки к отцу зашел усатый, чернобровый и черноглазый участковый дядя Миша Косолапин, с которым отец когда-то работал на мебельной фабрике, еще в юности. Они пошептались и дядя Миша, бросив на Даниила косой взгляд, по которому не поймешь, изучающий или поощрительный, ушел, поскрипывая ремнями и «лентяйкой» – офицерским планшетом. Отец вывернул Данины карманы, достал нож, задумчиво повертел его в руках и буркнул, что он также туп, как и его хозяин. Потом швырнул нож на ковер к ногам сына и тоже ушел. Против карт он не возражал, потому что сам и учил сына их раскидывать.

Издали Даниилова подростковая жизнь могла показаться тоскливой, глубоко провинциальной, простой, как серое, тихое утро, словом, совершенно непритязательной, а вблизи, при внимательном рассмотрении – со своими хитросплетениями и весьма нетривиальными особенностями. Под скучной рубашкой билось горячее сердце. Он это так называл. Мать отшивала подзатыльники, как только его сердце горячилось сильнее меры, а отец сурово поглядывал своими стальными глазами. Но он любил в сыне упрямство и скрытую за его вечной полуусмешкой природную силу.

Окончание школы совпало с крушением СССР, в тот же год. Отец смотрел на это также спокойно, как вообще на все в этом суетном мире. Даниилу всегда казалось, что отец с рождения стоит на твердой, серой поверхности старого перрона, заложив руки в карманы, а вокруг него снуют пассажиры и встречающие, истерично свистят милиционеры и дежурные по перрону, бузят пьяницы, мелькают хитрые рожи дорожных прохвостов и воришек, ловчат прощелыги таксисты, толпа то хохочет, то рыдает, приходят-уходят поезда дальнего следования, натужно шипя тормозами и, выворачивая душу, визжат раскаленными колесами работяги-электрички. Да мало ли что ежедневно происходит на вокзальном перроне провинциального сибирского городишки! Жизнь кипит и выкипает, а главный механик местного мебельного комбината, его отец, глядит на это с философским спокойствием памятника. Он точно так же безмятежно принял и развал огромной шумной страны. Мама рыдала, злилась,

кусала губы от ненависти к хищникам и от своего бессилия, а отец только бесстрастно наблюдал.

Мама была учительницей младших классов, а в последние годы заведующей учебной частью в начальной школе. Отцу платили мало, матери, как она говорила, половину от его черствой горбушки. И все равно она считала, что Великий, когда-то казавшийся непобедимым, Союз развалили свои, родные, хищники и злобные, дальновидные иностранцы.

Даниилу же, напротив, показалось, что рисунок на карточной рубашке государственной колоды стал веселее. Он и не думал поступать в высшую школу, ни в области, ни, тем более, в столице. Он не тяготел ни к точным наукам, ни к гуманитарным, ни к естественным. Даниил Любавин везде и во всем был равным.

Мать сказала, тяжело вздохнув, «пойдешь в армию». Потом подумала и добавила – «в антисоветскую». Это потому что советской уже не было. А что это такое «российская армия» никто толком еще не знал – ни из прошлого, ни из настоящего. Отец задумчиво осмотрел сына и сказал, чтобы просился на границу. Там, оказывается, еще есть смысл служить солдату, потому что перед ним так или иначе есть противник, хоть он и сосед, пусть и бессильный, мирный, трудолюбивый. Но все равно, по всем нашим доктринам, это потенциальный противник, даже, возможно, враг. А вот внутри страны нет ничего, да и земля уже как будто ничейная. Сиротливая, словом, земля.

Даниил почти целый год проработал грузчиком на комбинате отца. Именно столько ему оставалось до призыва. Научился лихо рулить автокаром и пить водку наотмашь.

Учительница литературы, классный руководитель, дородная, северная, полногрудая русская красавица Елена Михайловна Барова с раздражением говорила, что Любавин юный циник и неисправимый хитрец. Он же часто ловил на себе ее и смущенный, и насмешливый и, как ему, должно быть, небезосновательно казалось, вожденный взгляд. Он был красив и статен не по возрасту, умен и чуток к вниманию окружающих его людей, когда что-либо вдруг касалось его самого, явно или исподтишка. В нем, в его характере очень рано проявилось то подлинно мужское, которое чаще всего так и не приходит к большей части мужчин. Иной раз он поражал класс неожиданной оценкой какого-либо рутинного определения из школьного учебника литературы, истории или обществоведения. Однако, вызвав довольный шум класса и возмущив учителя своими резкими и точными высказываниями, Любавин вдруг умолкал, не позволяя втянуть себя в общий спор. Его категоричные фразы, порой, в крайней степени циничные замечания повисали в воздухе и, несмотря на страстные, а иногда и растерянные попытки учителя потребовать объяснений, продолжали свободно парить в воздухе. Получалось, его слово оказывалось последним. То был рассчитанный, даже бесчестный, запрещенный прием.

Он называл это «словом мертвеца». Умер, сказав, и не слышит ответа.

Это было одно из немногого, что выделяло его из общей массы одноклассников, но до такой степени решительно и принципиально, что все остальное сходство уже не имело никакого значения.

Его единственная подруга, из параллельного класса, Нина Дерябова уехала в Москву, в медицинский. Перед самым его призывом вся заплаканная вернулась в город, с растущим пузиком. Отца этого пузика, как она созналась, не помнит. Все случилось в общежитии, на общей студенческой попойке. Пришлось уйти из института, так как в общежитии для матерей-одиночек мест нет и не будет. Зарабатывать нечего и негде. Попыталась устроиться нянькой в столичную горбольницу, но там, профессионально почуяв неладное, отказали. Вот и вернулась. Избавляться от плода поздно, к тому же и страшно.

Даниил Любавин уже через полмесяца был забрит в «антисоветскую армию». Но не на границу (оттуда наниматели к ним в райцентр не приезжали), а на Кавказ, в десантные вой-

ска. Крепкий, дескать, здоровенный, зрение хорошее, самбо когда-то занимался, боксом, даже плавать умеет в любую погоду, хоть в проруби. Подходит по всем параметрам.

Рубашка на его личной колоде вновь оказалась довольно скучной. Ничему особенному их там не учили, а по первому полугодю даже морили голодом и бессонницей. Старослужащие считали своим долгом перед Родиной доставить молодым как можно больше неприятностей и боли. У них это получалось.

Через полгода их вдруг все же стали чему-то учить. Угрюмый прапорщик, похожий на подкопченного матерого вепря, мрачно осмотрел истощенную роту вчерашних новобранцев, словно, увидел их впервые, и рыкнул сквозь крупные, желтые зубищи:

– Доходяги, мать вашу!

Это прозвучало так же, как если бы он назвал их предателями или, по крайней мере, лентяями. И началась дрессура.

Прыгали, дрались, зубрили до тошноты уставы, ходили в караулы, «дневали» у тумбочек, у знамени части. В следующие полгода Даниила скоренько обучили шоферскому занятию и сразу посадили за руль зеленого УАЗа. Он стал возить офицеров – куда следует и куда не следует. Иногда их жен, тещ и матерей. Зато высыпался и отъедался. От стрельб, спортивной беготни и драк был освобожден. Однажды в часть приехала какая-то московская проверка, возглавляемая злющим генералом. Личный состав сначала прогнали мимо него нервным строем, потом выстроили на огромном плацу и он, небольшой, усатый, яростный, покрыл всех площадным матом и приказал срочно погрузить на военно-транспортные самолеты и скинуть на выживание в горах.

Даниил Любавин попытался было напомнить непосредственному командиру, что он уже давно шоферит при штабе, но командир, перепуганный генералом куда больше, чем, если бы увидел вблизи противника, заорал, что рядовой Любавин трус и что он покажет всем этим шоферам и кашеварам, что значит бой и враг. Любавина сбросили в первой же партии прямо на крышу крестьянской сакли.

В последний момент, перед самым приземлением, кто-то из десантируемых однополчан погасил своим неуправляемым телом купол его парашюта, и Даниил камнем влетел в дом, пробив черепичную крышу. Не будь ее, жизнь солдата Любавина тут же бы и оборвалась. Обошлось, однако, сломанной в голени ногой и десятью рваными ранами на теле, шее и голове. Пострадало и лицо. Так у него на всю жизнь и остался под губой, на подбородке, кривой белый шрамик.

В этой сакле он провел все учения и маневры. Ему поставили шину, три дня сбивали подскочившую до роковых величин температуру, зашивали плечо, живот и шею, причем, не свои врачи, а местный лекарь-чеченец.

За боевые ранения на коротких кавказских маневрах Любавин неожиданно получил боевую медаль и отпуск.

Встречала его, героя и парашютиста, молодая мать Нина Дерябова и ее ничейный сынишка – очень смуглый, кучерявый бутуз, нареченный Иваном. Стало понятно, кого именно не запомнила на той студенческой вечеринке Нинка. Одноклассницы хихикали, мать с отцом краснели, а Даниилу мальчишка очень даже понравился. Он заявил дома, что женится на Нине, усыновит ее негритенка и даже даст ему свою фамилию и отчество. Мать всплеснула руками, а отец все также невозмутимо молвил, что это его личное дело и мальчонка имеет те же права в жизни, как и любой другой. А что до цвета кожи, то это дело плёвое, потому что «внутренность важнее внешности», а она у всех одного цвета и вида. Если внутри ты гнилой, то будь хоть белее снега, все равно ты шаврик. Шавриком он по старинке называл того, кто по своей сути законченный негодяй.

Свадьбу решили сыграть по возвращении со службы.

Оставшееся время Любавин так и рулил на командирском УАЗе. Больше его ни на какие сабли не сбрасывали, выживать в кавказских горах не учили. Менее чем через полгода после его демобилизации в тех же местах уже полыхала Первая чеченская война. Она вползала медленно, ее чувствовали заранее, за годы до того, но объявилась она во всей своей чудовищности все же через пять с половиной месяцев после демобилизации Даниилова призыва.

Сразу по возвращении сыграли свадьбу. Нина стала Любавиной, а ее темнокожий, кудрявый, кареглазый Ванька к тому же еще и приобрел отчество Даниилович. Новый сибиряк – Иван Даниилович Любавин. Это сказал отец, внимательно разглядывая названного внука.

С этого момента рубашка личной карточной колоды Даниила Любавина стала окончательно скучной и однообразной.

Образования Любавину уже явно не хватало. Он был вынужден устроиться шофером в таксомоторный парк, принадлежавший одной влиятельной уголовной шайке в области. Чтобы заработать, ловчил, крутился, воровал километры и горючее, обращая их в свой персональный заработок. Это, разумеется, заметили те, кто и был поставлен шайкой на наблюдение и контроль. Сначала предупредили, как они говорили, «по-хорошему», а потом стали давить и даже бить. Даниил был вынужден уйти из парка. Устроился шофером на комбинат. Но и тут начались проблемы, потому что та же шайка уже становилась вооруженной бандой, охватившей не только всю область, но и заявившей о каких-то своих правах в Москве и в Санкт-Петербурге.

К этому времени Нина пустилась во все тяжкие. У нее появилась своя жизнь, сначала тайная, а потом уже, не в силах сохраниться в секрете, почти явная. Один из мелких атаманчиков той же самой шайки пригляделся к хорошенькой шатенке с выдающимися формами, с веселым, легким характером и взял ее под крыло. Смуглый сын Ванечка, который с годами становился все темнее и темнее, уже постоянно жил в доме бабки и деда. Никто не знал его настоящей национальности, знали только расу. Да и как не знать!

Даниил запил, скандалил с женой, вышвыривал ее вон из дома, но в конце концов сам уходил к случайным подружкам или даже к гулящим вокзальным девкам. Возможно, он бы так и спился или был бы убит по распоряжению того атаманичка, кабы однажды не встретил в райцентре скандального московского писателя и упрямого левака Кима Добренко, давно уже избравшего себе литературный псевдоним – Ким Приматов.

Псевдоним был как будто бы даже смешной, но сам московский ультралевый скандалист и талантливый, немолодой уже, литератор ни у кого, включая власть, не то что смеха, но даже и усмешек не вызывал. Вокруг него формировалось бойкое сообщество юных и не очень юных экстремистов. Их становилось все больше и больше. Старые члены его московского кружка научились подпольной конспирации, а младшие, как он выражался, набивали руку, натирали нюх и точили когти на скандальных политических акциях.

Само это слово «экстремизм» было реанимировано из словарного оборота совсем недавно рухнувшей советской власти. Тогда более всего боялись, что кто-нибудь приучит оголодавшее общество к испытанному слову «революция», и потому поторопились найти ему уничижительный синоним. То же самое происходило и теперь. Экстремист – это почти психопат, развязный хулиган, по сути своей, почти сформировавшийся тип террориста, причем, без принципов, без всякой святости в помыслах и совершенно без чувства меры. Ведь революционер – прежде всего, идейный борец, а тут, дескать, какая идея! Не приведи господи!

Идея – вот что страшило побольше, чем махровая безыдейщина или даже уголовщина. Пугал не опыт использования боевых аксессуаров диверсии и террора, с чем еще можно было худо-бедно справиться, а именно идея, которой теперь уже совершенно нечего было противопоставить. За то и начали хватать и судить.

Ким был сослан после второго за свою жизнь московского суда в сибирский городок, в котором жил Любавин.

Власти, правда, уже было не до своих леваков, потому что на Кавказе, в том числе и в тех местах, в которые когда-то сбросили на крестьянскую саклю десантника Даниила Любавина, удушливо чадила жестокая война. Домой постоянно отправляли искалеченные тела и гробы. Многих не находили – не то сгорели, не то сбежали, не то осели в тех же саклях в качестве рабов.

Вот тогда и встретился на пути Даниила Любавина сосланный эпатажный писатель Ким Приматов.

С этого времени тыльная рубашка персональной карточной колоды Даниила Любавина перестала быть скучной и однообразной.

Джокер

Звали его Станиславом Игоревичем Товаровым.

Отец Даниила Любавина, увидев фотографию Товарова сначала в газете, а потом в одной из популярных политических передач по телевизору, сказал, что они далекая с ним родня, по молодой и бойкой тетке. Даниил тут же вспомнил, что много раз видел его в их же городке несколько лет назад. Товаров был старше Даниила на одиннадцать лет, так ярок и заметен, так тонок и остроумен, что непременно запоминался людям.

Ему принадлежало высказывание о том, что только острое ума свидетельствует о присутствии ума как такового вообще. Таким образом, считал он, остроумие и есть ум, а все остальное обыкновенное, почти слабоумное, состояние человека. Спасает, мол, одна лишь способность к анализу, но все равно, без остроумия и эта способность является только обнаженной функцией без возможности самокритичности, а значит, обречена на застой, потому что не имеет ни малейших шансов к обновлению мышления. Сказано это было уже в выпускном классе учителю физики, старому вздорному человеку, напрочь лишенному чувства юмора. Старик чуть было не расплакался. Покраснел как вареный рак, краска его обескураженного лица была густо видна на фоне гладко зачесанных на затылок седых волос.

Товаров учился в той же школе что и Даниил. Семья тетки, неполная, с Любавиными общалась крайне редко, только по очень большим семейным праздникам или случайно. Даниил в те годы с ним не общался и даже помнил его весьма неточно. Большая разница в возрасте, которая в детские годы куда значительней, чем во взрослые и даже в преклонные, да еще редкие встречи никак не способствовали их более близкому знакомству.

Тетка отца, по фамилии Товарова, когда-то сошлась с темпераментным выходцем из Дагестана Асланом Наврузовым и забеременела Стасом. Аслан работал агентом по снабжению на том же городском мебельном комбинате. Уверял, что свободен, и грозился, по окончании контракта с комбинатом, увезти ее в небольшой городишко на административной границе с Чечней, где жила его многочисленная и дружная семья. Но после рождения Стаса выяснилось, что Аслан давно уже помолвлен с девушкой из того кавказского поселения и жениться без позволения старейшины тейпа, который приходился ему дедом, не имел права. Так Стас остался безотцовщиной, а его мама – матерью-одиночкой. Аслан же убрался к себе. Мама дала сыну славянское имя, отчество по имени своего покойного двоюродного брата (погиб в автокатастрофе лет за семь до рождения Стаса), а фамилию – свою.

Этим самым Стас Товаров был чем-то похож на своего позднего темнокожего дальнего родственника Ванечку Любавина. Он, правда, всегда был белолицым, голубоглазым и темно-русый. Красивый был мальчик. Стройный, как игрушечный солдатик, умный и ироничный. С пикантной черной родинкой над верхней губой, как у отца.

Стас учился в областном педагогическом институте на факультете географии и биологии. Нужен был диплом, а попасть сюда было проще простого. Он занялся общественной работой, возглавив с первого же курса комсомольскую организацию сначала факультета, а после третьего курса – и целого института. Еще на втором курсе он вступил в компартию. В школу его по обязательному распределению не отправили, а сразу в Москву, на двухлетнюю учебу в Высшую комсомольскую школу. По ее окончании он на год вернулся в свой город, на должность первого секретаря райкома комсомола, потом его перевели в областной комитет на должность второго секретаря, а через три года он уже был в ЦК. Поговаривают, что именно тогда Товаров и был направлен на учебу в КГБ. Якобы курс был ускоренный. Вышло какое-то секретное постановление, обязавшее ЦК комсомола направлять в специальную школу самых перспективных своих функционеров, показавших способность к изощренному мышлению. Всё набирало темп, а косность системы государственной безопасности, переполненной выходцами из

рабочих слоев и «анкетными» выпускниками технических ВУЗов, отобранными беспристрастным кадровым аппаратом ведомства, тормозила общее развитие и, более того, создавала предпосылки для опасной изоляции политических служб от окружающего мира.

Однако Товаров остался в ЦК, занявшись там идеологической работой. Он был надежным проводником давно уже испытанной программы борьбы с «идеологической диверсией» под прикрытием комсомольских оперативных отрядов дружинников. Курировали эту работу в Пятом главном управлении КГБ, кадровым сотрудником которого к тому времени и был уже сам Товаров.

В коллегии КГБ всерьез опасались, что новые веяния, как левого, так и правого толка, ходившие уже довольно свободно по свету, прежде всего, способны проникать в высшие учебные заведения и вербовать именно там своих сторонников. Все началось еще в брежневские времена. Тогда внутри одного из самых номенклатурных и самых престижных ВУЗов – в МГИМО, да еще на главном его факультете образовалась тайная группа, состоявшая из сыновей высших партийных и управленческих чиновников, которая поставила перед собой конечную задачу – свержение советской власти, а самые радикальные даже полагали, что начинать надо с физической ликвидации Брежнева. Группу «накрыли» не из-за предательства кого-либо из ее довольно многочисленного состава, а потому, что несколько студентов, настроенных исключительно реформаторски, стали открыто пропагандировать ее левые постулаты по внутреннему институтскому радио. Никого не арестовали, даже не отчислили из факультета, потому что тогда пришлось бы «вычищать» из высоких властных кабинетов и их отцов, и старших братьев, да и всю близкую и дальнюю родню. А это уже всерьез затрагивало интересы некоторых самых влиятельных людей в стране и давало возможность энергичным партийным оппонентам престарелых членов Политбюро развернуть довольно эффективный фронт борьбы с ними. Достаточно было выплеснуть на очередной пленум всю эту очень некрасивую историю, а что-то еще и подтасовать, додумать. Кроме того, скандал бы попал к иностранцам, а уж те бы знали, как его использовать и вообще какие выводы сделать. Многие бы расползлось, расшаталось, а многое бы рухнуло прямо на глазах у всего мира.

Решили дело это замять, а студентов довести до выпуска и распределить под наблюдение умных, опытных наставников. В дальнейшем некоторые из них сделали видные карьеры. Один из них стал академиком и директором крупного исследовательского института, а другой даже министром иностранных дел. Именно он и был на шумных сборищах студентов-реформаторов сторонником решительных действий, а именно – ликвидации Брежнева, вцепившегося во власть окаменелой хваткой мертвеца.

Такие группы время от времени появлялись в учебных заведениях. Комсомольские оперотряды, их группы по борьбе с «идеологической диверсией» должны были собирать материалы и блокировать подпольную работу. Они ведь находились в самой среде и получали информацию из первых рук. Однако нигде больше это не заканчивалось лишь торможением деятельности групп. Санкционировались аресты, проходили закрытые судебные процессы, а завершались они весьма значительными сроками лишения свободы. Товаров знал об этом, изучал материалы еще на курсах в школе КГБ и копил в себе реформаторскую энергию особого характера, направленную не на разрушение власти, а, напротив, на ее сохранение и разумное, как ему казалось, преобразование. Он видел дальше других, ценил иные компоненты политической системы, чем даже она сама, внутренне тяготея к развитым «несоветским» общественным и экономическим формам. Он в мыслях называл себя «скандинавом».

Горбачевская перестройка не грохнула Товарова по темечку, как многих других. Он давно уже видел, как она опускается на землю, точно хлопающий лоскутами дырявый парашют – не до смерти, хотя и с небольшими травмами. Для кого-то это падение все же оказалось стремительным и даже роковым, но Товаров и те, с кем он все эти годы имел дело, успели

сгруппироваться, поджать ноги и лишь после удара о землю совсем немного покрутиться на ней с бока на бок. Потом приподняться на четвереньки, а уж после крепко встать на ноги.

– Советская власть не умирает, – как-то высказался Товаров на очень доверенном и узком совещании, на котором присутствовало несколько здравомыслящих начальников из 5-го Управления и два секретаря ЦК комсомола, – потому что мертвый не может стать еще более мертвым. Она уже очень давно приказала долго жить. А то, что мы сейчас чуем, так это тяжелый дух разлагающегося трупа. Пока не поздно..., если только мы уже не опоздали, ...нужна его искусная мумификация наподобие... ленинского тела.

– Вы с ума спятили! – вспыхнул один из секретарей, но кто-то из руководителей 5-го Управления стрельнул в него раздраженным взглядом и тот, неожиданно смутившись, умолк.

– Время реанимации мумии советской власти настанет не скоро, – невозмутимо продолжил молодой тогда еще, однако же по-зрелому хладнокровный и сдержанный Товаров, – но непременно настанет! Реаниматоров следует сохранять, помня, что именно они бальзамировали труп и знают все его особенности. Ведь секрет не в том, что больной мертв, а в том, как выдать его в свое время за живого..., за ожившего. Тут ничего нельзя перепутать, ничего нельзя забыть... и, потом уже..., много позже, давая новые имена тем же чреслам, тому же телу, сверяться с инвентарными списками, которые пока еще в наших руках. Вот в этом весь секрет! Не в живом, а в мертвом, в окаменелом.

Эти его слова позже передали на самый верх. Там они, похоже, недовольства не вызвали. К нему теперь стали присматриваться пристальней, с пониманием того, что этот молодой человек мыслит стратегическими категориями. А ведь ему тогда еще и тридцати не было. Для высшей партийной знати он был буквально вундеркиндом. Те, кто поняли его план, увидели себя и свои семьи в будущем; тем же, которые не поняли, оставалось лишь кичиться прошлым, все чаще и чаще признаваемом в раздраженном обществе сомнительным.

– Сколько же, по-вашему, будет тогда «реаниматорам»? – спросил его на том же совещании строгий начальник из пятого управления.

– Что касается меня и моих сверстников, несколько за пятьдесят, – уверенно ответил Товаров, – тем же, кто постарше, уже пойдет седьмой десяток, а то и больше. Кто-то не доживет...

Он потер гладко выбритый подбородок и, вскинув ясные, умные свои глаза на тех, кто обескуражено сидел за столом, продолжил уже как будто мягче:

– Да вы поймите..., поймите... То поколение, что сегодня недовольно властью, составит за это время, многие обнищают, потеряют окружение, да просто перемрут..., от болезней, от природных катаклизмов..., может быть, даже и от войн... Без этого ведь никуда! История не знает таких исключений. А те, кто родятся в эти годы или уже родились совсем недавно, не более десяти лет назад, ничего и знать не будут: ни дурного, ни хорошего. Они все будут принимать на веру. И не от нищих своих отцов, а от тех, кто окажется удачливым, эффективным. Вот тут от нас нужен фильтр..., селекция нужна, жестокая, решительная, но принципиальная..., как отбор в кадровый состав будущего. Неужели, это не ясно?

– Что? Что именно потребуется? – раздался чей-то сдавленный голос.

– Вера! – неожиданно горячо ответил Товаров, – небывалая концентрация сил и средств. Страну придется собирать заново. Она будет разваливаться, распадаться, разбегаться... Ее будут предавать, но будет предавать, и она сама. Понадобится всё – управляемая армия, внутренняя охрана..., хоть как ее называйте..., пропаганда, если хотите..., да! Да! Пропаганда! И ее тоже можно будет называть так, как потребуется! Не важно, что у судна написано на борту, главное, знать, куда оно плывет и где конечный порт. И еще..., впрочем... это даже самое важное! Не упустить бы «золотого тельца»! Охранять поле, на котором он будет пастись. Люди, люди..., доверенные люди, включая новых, отобранных, ...и старики-реаниматоры. К ним на пушечный выстрел нельзя подпустить чужаков. Все это требует терпения, координации

и огромной массы финансовых и материальных средств. А еще...еще личной, персональной заинтересованности основных игроков. Нищим не поверят! Нищих презирают и морят голодом! Не имеет значения, как ты приобрел богатство, главное, что оно у тебя в руках. Если ты отобранный селекционный материал, владей. Если чужак, отдай или умри. Это – принцип. Без него ничего не выйдет.

Были ли еще совещания в других высоких, важных ведомствах и в ином составе, где об этом уже говорилось бы, возможно, уже в более точных, конкретных формах, не известно. Однако Товаров в эти дни, недели и месяцы был очень востребован, очень занят. Он как будто повзрослел, даже, говорили, состарился. Взгляд его стал сосредоточенным, чуть нервным, решительным, шаг быстрым, точным, поворот головы неожиданно скорым, чутким, словно, у хищника. Наступили рискованные времена.

Товаров ни вечного своего, почетного, комсомольского, ни партийного балетов не сдал, как и красного удостоверения личности из бывшего КГБ. Он их аккуратно сложил и запер в домашний сейф. Вместо них у него теперь была пластиковая карточка о том, что он теперь отвечает за связи с общественностью и средствами массовой информации в крупном банке, созданном на деньги не то комсомола, не то КГБ, не то компартии, а, скорее всего, и того, и другого, и третьего, и даже четвертого – средств, собранных воротилами черного рынка и новой, довольно продуктивной, уголовной среды.

Коммерческая пропаганда банка было не единственной его заботой. Вместе с банком была создана крупная национальная, а в дальнейшем и транснациональная компания, занятая всем тем, что приносит быстрые и большие прибыли. В той и другой организациях на верхушке закрепились одни и те же люди.

Товаров тоже внес свой вклад в большое корпоративное дело. Сначала он слетал, по совету своих друзей из бывшего КГБ, в Италию. Там его встретили два бывших работника Совфрахта, которые тут же учредили вместе с ним и с тремя энергичными пожилыми итальянцами, когда-то тайно связанными с экспортными коммунистическими деньгами, компанию по производству на территории новой России мебели. Товаров вернулся в свой город, уговорил в два счета бывших первых секретарей коммунистического и комсомольского райкомов, председателя исполкома, начальника местной милиции, прокурора, а также директора мебельного комбината создать вместе с той итальянской компанией совместное производственное и торговое предприятие. За ним зачислили не только мощности комбината, но и огромный лесной массив, из которого можно было бы наделать мебели для всего земного шара, и еще бы немного осталось.

Все это отдали в обслуживание того самого банка и той крупной управляющей компании.

Обнаружилось, что в тайге, в тех местах, были огромные залежи сырой нефти, и это настойчиво скрывалось во время регистрации совместного предприятия. Банк предоставил комбинату обреченный на финансовый провал крупный кредит, а потом в уплату за него отобрал весь лесной массив вместе с нефтью.

По такой же схеме Товаров прокатился по всей стране и по части Восточной Европы. В награду за труды он был произведен в первые вице-президенты корпорации, куда входили этот и еще три банка, управляющая компания, около сотни энергетических, химических, металлургических и деревообрабатывающих предприятий.

На оборотливого парня вновь обратили внимание в Кремле. Если он так легко может управляться с миллиардными оборотами, то почему бы не попробовать его на самом широком поле – на поле страны. К тому же он так ловко и эффективно обставлял коммерческую пропаганду очевидного грабежа, что, по всему видно, сумеет справиться и с куда более крупными задачами пропаганды и организации различного рода движений и партий.

Молодого и бойкого человека с обаятельной, а, по некоторым оценкам, даже с интересной внешностью, действительно нельзя было не заметить.

Один из самых старых, опытных политиков, известный своим непреходящим влиянием в доверчивой и, в то же время, строптивой стране, всегда доверяющий на высшую власть авторитетом видного ученого в области, так называемых, общественных наук, блестяще осведомленный политический журналист, крупный дипломат и проникновенный разведчик, пожелал встретиться с молодым Товаровым и «рассмотреть его в упор», как он выразился.

Встреча состоялась рядом с Кремлем, в старом солидном здании, бывшим еще в незапамятные царские времена крупным акционерным банком, с изящными колоннами, с роскошным парадным, с гулким холлом под высоченными лепными потолками. Теперь это был, своего рода, закрытый деловой клуб для тех, кто никогда, ни в кои времена, не ослаблял деловой хватки, не терял хладности ума, но и не уступал горячности убеждений в державной святости всей своей жизни, а, главное, чье влияние на крупных государственных мужей заключало в себе куда более могущественную силу, нежели сами эти мужи, все вместе взятые, ею обладали, со всей своей многочисленной охранной, крикливой пропагандой и болезненно ранимым честолюбием.

Этого не дряхлеющего старца, который многим казался заговоренным как от физической, так и от политической кончины, звали академиком Дмитрием Семеновичем Ратовым. О нем в солидных журналистских кругах ходили слухи, будто он чуть ли не один из самых видных масонов, долгие годы ретранслировавший их здравые, и, как многие были убеждены, рациональные идеи во всем восточно-европейском пространстве. Этим, по российской привычке, намекали на его еврейское происхождение (якобы по матери он еврей) и на нерушимую, кровную «пуповинную» связь с некой мировой закулисой. Звучало это наивно, натянуто, а в некоторых случаях, озлоблено и всегда беспомощно. Ратов лишь усмехался и хитро шурился, когда какая-нибудь загорающаяся юная журналистская звездочка приставала к нему с прозрачными намеками на это завораживающее обстоятельство, находящееся в соблазнительном желтом спектре общественной информации.

Академик Ратов долгие годы возглавлял солиднейший академический институт, о котором ходили небезосновательные слухи, как о надежном организационном прикрытии одного из важных оперативных подразделений советской политической разведки. В то же время институт славился откровенными и весьма углубленными разработками экспорта марксизма советского толкования в развивающиеся страны, в основном, Ближнего Востока, что делало те самые подозрения о его связях с разведкой весьма противоречивыми. Ведь по существу официальная деятельность института должна была лежать в отдалении от того, чем занимались его негласные сотрудники, если они только вообще существовали. Однако именно Ратову принадлежит острое высказывание о том, что хитрые азиатские глаза свидетельствуют как раз о хитрости и коварстве, и то, что истинная хитрость не должна быть ясно написана на лице и это, дескать, всего лишь шутка природы, роковое заблуждение. Все самое главное надежно можно спрятать только на поверхности, где опытный шпион или вор искать не станут, посчитав это глупостью. Подобное есть наивысший пилотаж в обмане. Такой прием свойственен лишь самым хладнокровным и смелым умам, многие из которых действительно служили под его академическим началом.

Старик и молодой человек, сидя в глубоких кожаных креслах, долго рассматривали друг друга пытливыми и откровенно любопытными глазами. Эта неожиданная смелость молодого человека никак не расстроила, а даже позабавила старика. Он подумал, что сам, видимо, еще не настолько старчески вздорен, как о нем поговаривали всё последнее десятилетие, коли вызывает искренний интерес у начинающего молодого политика. Молодости свойственно уважительно интересоваться старостью в той же мере, считал старик, как и архивами, имеющими все

еще актуальное значение, а не как музейными экспонатами сомнительной ценности. Молодой любопытствующий взгляд оживляет и тревожит, а не хоронит и забывает.

Сначала позабавились несколькими легкими анекдотами на актуальные политические темы, умением рассказывать которые заслуженно слыл Дмитрий Семенович. Товаров ответил ему осторожными шутками с вполне допустимой, с точки зрения старика, мужской пошлинкой.

Только перед самым завершением знакомства, которое будто бы для того и состоялось, чтобы старый лис осторожного прощупал молодого плута, всего лишь сообщив ему не самые скверные анекдоты с политическим подтекстом, Ратов вдруг, вовсе не утруждая себя серьезностью лица, очень мягко и добросердечно спросил:

– А не думаете ли вы, Станислав...э-э-э, ... ну, не важно, ...простите мне милостиво мою склеротическую память на отчества..., не думаете ли вы, что все предложенное вами, не сохранит самой сути системы, а напротив, подорвет ее основу окончательно и бесповоротно?

– Не думаю, – немедленно, без малейшей паузы, ответил Товаров, словно, до того не было анекдотов, шуток и пронзительных взглядов, слезящихся старостью, мудростью и холодным расчетом глаз академика Ратова.

– Вы вообще что-нибудь по этому поводу думаете? – все также мягко, с обыкновенным, естественным, казалось бы, любопытством, и в то же время как будто из вежливости, вновь спросил Дмитрий Семенович.

– Думаю, – Товаров улыбнулся столь же мягкой улыбкой, с поразительной точностью, повторяющей скрытое за внешней формой настроение влиятельного старика.

Это приятно скользнуло по опытному сердцу Ратова. Он вдруг подумал, что новый ученик, пусть всего лишь на первый взгляд, вполне достоин старого учителя.

– Думаю, – повторил Товаров, мгновенно смыв улыбку с лица, – Боюсь, уже давно нет той основы, которую следовало бы оберегать. Я слишком молод..., не обладаю ни опытом, ни привязанной к нему памятью, но одно лишь то, что ничего иного не приходит в голову..., то есть не за что зацепиться..., говорит, что нечему и приходиться.

– Любопытно, – Ратов придвинулся ближе, чуть склонившись вперед в своем кресле, и не теряя вежливой доброжелательности на лице, тем не менее, ледяным, вдруг высохшим, взглядом теперь уже далеко не старческих, внимательных глаз уставился на Товарова.

Тот, однако, нисколько не смутился.

– Основа рухнула без какой-либо возможности реставрации 5 марта 1953-го года, – произнес он твердо, вновь безошибочно копируя настроение старика, – ее, эту основу, нашли не то на полу, не то в скомканной постели. С того момента начались имитации, более или менее точные. Их даже иной раз принимали за оригинал! Хотя, согласитесь, были и откровенно бездарные.

Он приподнял чашку с остывшим чаем, отпил глоток с горчинкой, и очень обаятельно, как-то даже по-детски трогательно, сморщился. Ратов милостиво кивнул, будто согласился с ощущением горького не то от глотка чая, не то от слов.

– Так стоит ли нарушать традицию? – вдруг спросил Товаров, но, не дождавшись ни малейшей реакции от старика, сам же себе и ответил, – Не стоит. Можно утратить и ее, единственное, что осталось. А вот объявить, возможно, даже грубую подделку оригиналом, по моему, стоит. Новые поколения об оригинале знают из того же источника, который создает и подделки. Надо контролировать это. Может быть, даже более всего. Нужно объявить мифами истину и сделать мифы истиной. Звучит примитивно и прямо? Но кто разберется в том, что именно подделка, а что оригинал? Кто без нас, без авторов идеи? Следует осознать, что все это требует огромных средств и напряжения сил, а также и немалого времени. Бить надо в темечко..., в самое темечко..., пока оно еще мягкое, младенческое..., в самый родничок... А то зарастет и всё!

– А разве не зарос уже? – усмехнулся старик.

– Один зарос..., из вашей юности..., а наш еще только-только открылся. Я об этом. Об образовании, о школьных программах, о периодике, Интернете, кино, книгах..., о пьесах, сценариях, сказках, если хотите... Да, да! О сказках для самых маленьких и самых глупеньких! О том, что воспитывает, сдерживает, стравливает, злит, ублажает... Вновь звучит примитивно, банально? Оно и должно быть примитивным, банальным. Потому что это пропаганда, это идея, флаг с полинялыми цветами, но флаг..., флаг! Он должен реять надо всем!

Ратов опять задумчиво кивнул. Они еще долго сидели за холодным чаем, разговаривали в полголоса о чем-то очень важном и серьезном. Потом старик вдруг вспомнил какой-то забавный, в меру пошленький, анекдотец, и встреча, первая, но далеко не последняя, на том и завершилась.

В закрытой «византийской» среде президентской администрации Товарова очень скоро прозвали «Джокером».

Ким Приматов

Прозвище «Приматов» Ким себе взял уже очень давно. Первый свой рассказ он опубликовал в одном из «толстых» литературных журналов в Москве в середине шестидесятых под фамилией Добренко, ибо это была его собственная фамилия. Был он тогда еще очень молод и зол.

Рассказ получился талантливым и по своему политическому осмыслению ультралевым. Возможно, Кима бы и не заметили в идеологическом отделе ЦК партии, кабы первое его сочинение не было бы поистине талантливым, да еще настолько левацким, что в сравнении с ним даже большевизм выглядел почти оппортунизмом. Истинным правоверным революционером, оказывается, был юный Ким, а любой седовласый секретарь ЦК на его фоне выглядел рутинным партийным бюрократом. Рассказ назывался – «Мечь». Там какой-то молодой пролетарий, сын и внук старых большевиков, репрессированных беспощадной сталинской шайкой, нанялся работать на Красную площадь рабочим по укладке булыжника. Он сумел спрятать под камнями револьвер, а во время первомайской демонстрации, под прикрытием праздничной толпы, извлечь его оттуда и несколько раз выстрелить в трибуну, метя в Сталина. Но не попал. Был тут же схвачен и казнен прямо во дворе ближайшего переулка. Без суда и следствия. Револьвер потребовал себе Сталин. Ему с неохотой его дали, и он прочитал на тяжелой ручке мелкую гравировку: «Тебе, Коба – истинному врагу народа!»

О Сталине после двадцатого съезда писалось много всякого. Такой рассказ тогда и, тем более, почти десятью годами позже никого бы не удивил, но все дело было в том, что там подвергалась сомнению сама идея дальнейшего сохранения коммунистической партии в том ее виде, в котором она пребывала все эти годы. Партию следовало распустить и начать все сначала, по убеждению Добренко. Всех ее функционеров надлежало отдать под суд, за которым закрепить право немедленного расстрела после первого же открытого слушания.

Журнал с рассказом изъяли из продажи, а набор рассыпали. Главный редактор был смещен с должности, а вскоре исключен из партии за «политическую близорукость». То же самое случилось с заведующим отделом прозы. В «Правде» появилась статья некоего анонимного автора, в которой молодого писателя Кима Добренко назвали приматом. С этого дня он, написавший в дальнейшем несколько скандальных и в то же время, несомненно, талантливых романов, выпустивший полтора десятка сборников стихов, автор острых политических памфлетов, издававшихся исключительно за границей, взял псевдоним «Приматов». За границей произведения издавались не только потому, что на его имя и на псевдоним был наложен пожизненный запрет в советской литературе, но и потому, что после ареста за антисоветскую пропаганду и первый, пятилетний, лагерный срок, он был лишен гражданства и буквально вышвырнут из страны.

Приматов происходил из рабочей семьи. Дед его действительно был осужден на десять лет в тридцать четвертом году за участие в троцкистском блоке, а это, как ни странно, соответствовало действительности. В тридцать седьмом он был расстрелян, за три года до рождения Кима.

О биографии Приматова известно было немного – окончил восемь классов, работал сначала в типографии, потом книгоношей на книжном складе и в магазине, затем матросом в костромском речном пароходстве, потом санитаром в психлечебнице в Ярославле, а дальше – вот этот самый рассказ «Мечь» и первый суд. Еще знали, что его отец воевал, был наводчиком в артиллерии, получил несколько ранений, а в пятьдесят шестом году умер от открытой формы туберкулеза в подмосковной больнице. Рассказывали, что его арестовали в конце сороковых, судили за что-то воровское, сидел в Мордовии, там и подхватил свой туберкулез. Но в этом

уверенности не было – кто-то говорил, что он не сидел, а долго лечился от шизофрении в психиатрической больнице в Москве.

Мать Кима умерла от рака поджелудочной железы еще в сорок четвертом, на руках у своей сестры, в вологодской деревне, куда она эвакуировалась с Кимом и его старшим (всего лишь четыре годика) братом в октябре сорок первого. Потом, спустя полгода, ушел из жизни, там же, и брат Кима – не то упал в колодец и утонул, не то замерз в поле, рядом с домом. Об этом Ким не любил вспоминать: слишком это больно.

Отца своего он помнил, как ни странно, ясно. А ведь когда того посадили, Киму только-только исполнилось семь лет. Потом в памяти осталось страшное возвращение отца из лагеря – тогда показалось, что это глубокий старик, харкающий кровью, с потухшими сизыми глазами и с тонкой, морщинистой шеей. А ведь отец был еще молод по годам, но изношен войной, истощен послевоенными своими бедами, раздавлен бесприютной судьбой вдовца. Всё у него отняли, а что не успели отнять, он и сам потерял.

Так что у Кима Приматов были свои личные счета с советской властью, с компартией и с ее репрессивными службами.

Выкинули его из страны в шестьдесят девятом. Он улетал почти без вещей: с потертым кожаным портфельчиком, в котором была безопасная бритва, зубная щетка и смена застиранного белья, с малюсенькой подушечкой-думочкой, единственным доставшимся ему от семьи предметом, в кургузой, потертой брезентовой куртке, латаной-перелетанной, и с запрятанным в штопаные на задку, темно-бордовые бархатные штаны последним экземпляром того журнала с рассказом. Штаны эти он когда-то сшил сам из старых клубных штор, имея богатый опыт портного, приобретенный во время отсидки в лагере. Он шил стильные штаны даже для жен и дочерей лагерного начальства. Его вывозили под охраной в жаркий клуб МВД на снятие мерок с задов и бедер офицерских дам и девиц, давали сначала рулоны кальки для кроя, затем материю, нитки, вновь доставляли для примерок.

Ким отчаянно краснел и потел, притрагиваясь к свободным женщинам, а потом отбивался от навязчивых осужденных, требовавших подробностей о том, как всё это там у них на вид и на ощупь. Отказывался говорить, дрался, часто был жестоко бит. Он не рассказывал не потому, что считал это пошлым или недостойным, а потому что действительно ничего не успевал ни почувствовать, ни понять из-за того, что за ним всегда строго наблюдал конвойный и даже награждал пинками, если вдруг подозревал, что портной слишком уж задержался на каком-то обмере, на чей-то округлости или впадине. Врать же и придумывать считал для себя делом крайне унижительным, куда худшим, чем смаковать то, что видел и чувствовал. Объяснять этого он никому не желал, да и не поняли бы его. Терпел, отвечал насколько хватало сил и умения, но ни разу не дрогнул. Это в конечном счете в лагере оценили и оставили его в покое.

Выпустили Кима из страны без паспорта, с мятой желтой карточкой, в которую была вклеена его фотография и небрежно написана родовая фамилия. В год и в числе рождения были допущены ошибки, должно быть намеренные. Ему не выдали на руки даже справки об освобождении из лагеря, заявив, что это «внутренний» документ, не подлежащий вывозу за рубеж.

В Вене, куда прилетел самолет с Кимом Добренко-Приматовым, его шумной гурьбой обступили корреспонденты. Оказывается, во время отбытия им срока, его имя не раз поминалось как имя политического диссидента и узника совести. На радио «Свобода» дважды в ночное, самое востребованное на территории СССР время, зачитывался рассказ «Мечь» и некоторые его стихи, которые каким-то образом уплывали из лагеря на волю.

Но корреспонденты дружно отхлынули, стоило ему открыть рот. Ким Приматов, урожденный Добренко, во всеуслышание заявил, что прилетел сюда не скрываться от бандитствующей власти, незаконно называющей себя коммунистической, а бороться с ее идейным отраже-

нием в преступной политической системе Запада. По словам советского изгоя, в этой борьбе все методы справедливы – от парламентских, мирных, до террора.

Несколько лет ему отказывали в гражданстве в двух западноевропейских странах и в США. Он еле сводил концы с концами, работая то парковщиком, то грузчиком, то вышибалой в баре (это при его-то малом росте и тщедушном сложении!), то матросом на барже по Сене. Он снялся в двух ярких массовках во французском фильме о революционных событиях конца восемнадцатого столетия, и даже в одной из них выкрикнул на французском языке фразу: «Победа или смерть!». Озвучивал его, правда, потом какой-то француз.

Хрупкий, в то же время, с рельефными жилистыми руками, с костистым, выразительным лицом, с горящим взором, Ким смотрелся на баррикадах очень эффектно, как считал режиссер. То был истинный рабочий-парижанин давно ушедших времен, впервые осознавший свое величие, как человека труда. Это тоже были слова того режиссера. На афишах фильма как раз и был изображен Ким Приматов на баррикадах, под трехцветным французским флагом и с чем-то вроде длинноствольной пищали в руках. За это его рекламное изображение ему заплатили дополнительно.

Год он прожил в США, в Чикаго. Потом был оттуда выдворен за антиправительственную агитацию, бежал в Мексику, два года работал там на какой-то сомнительной плантации, связался с ультралевыми коммунистами и был рекомендован ими в Германию. Официально его зачислили барабанщиком в перуанскую музыкальную группу, выступавшую в Баварии на разных пивных и не пивных праздниках. Он наконец получил гражданство – гражданина ФРГ. Без постоянной адресной регистрации. Словом, привычно бездомного.

За эти годы вышло еще четыре его книги и два сборника стихов. Книги выходили на английском, немецком, испанском, французском и, конечно же, русском языках. По двум сняли фильмы, его авторские права были выкуплены крупной голливудской кинокомпанией. Это была щедрая сделка, давшая ему возможность жить почти на широкую ногу некоторое время в Мюнхене.

Ким Приматов несколько состарился, похудел еще больше, чем был в молодости, блестяще говорил на четырех иностранных языках, поумнел, посерьезнел, заматерел. Был он, тем не менее, сухожил, моложав, силен.

СССР тем временем тяжело скончался, с треском развалившись на многие неравные части. Ким Приматов вернулся домой и получил новое российское гражданство.

Однако деньги уже подошли к концу.

Ему с трудом хватило средств купить на окраине Москвы однокомнатную квартиру с низкими, пыльными потолками и с ободранным полом из блеклого линолеума. Он впервые женился, когда ему было уже чуть за пятьдесят, на юной горлопанке и наркоманке из хулиганской певческой группы, самоуверенно считавшей себя лидером московского рока. Кожанные косухи, цепи, заклепки, дребезжащие гитары, басы, ударники, банданы на лысых и косматых головах, нескончаемое сквернословие, разнузданный секс, наркотики, крепкое пойло и дикарские вопли на шальных сборищах в парках и площадях – это и была та самая творческая группа. Ее «фанамии», как было принято тогда говорить, были старшие школьники, пэт-эушники и студенты первых курсов из провинциальных ВУЗов, в основном, в подмосковных городках.

Ким первые полгода простучал на тамтаме, вывезенном им из перуанской группы в Мюнхене. У них с примой-наркоманкой появился сын. Потом развод и новый брак, на литературном редакторе того же толстого журнала, из-за которого началась когда-то его многолетняя одиссея. Там появилось еще двое детей, близнецов-девчонок. Опять развод и опять брак. Последней и нынешней его супругой стала безработная революционерка менее чем средних лет, с помощью которой он еще задолго до развода с редакторшей, создал партию левых радикалов-проц-

кистов. Все же покойный дед его был истинным троцкистом, а не придуманным гепеушными следователями, как это чаще всего случалось в те годы! Ким всегда помнил, кем был его дед, и историю троцкизма знал куда лучше многих дипломированных исследователей.

К тому времени Ким уже был весьма немолод и о позднем браке своем говорил, что брак есть образ жизни, а любовь – лишь ее воображаемый рисунок.

Однажды он, лукаво усмехаясь, выразился так:

– Единственное что остается после чувства влюбленности в юную даму у пожилого разумного человека, это чувство юмора, а у дурака – отчаяние.

Его вновь арестовали за организацию откровенно экстремистского сообщества молодых хулиганов и нелегальных студенческих групп, занятых распространением листовок с призывами к бунту. Он получил три года общего режима.

За это время, с момента своего возвращения, Ким Приматов издал еще две новые книги и переиздал огромными тиражами старые. Большая часть из них были, скорее, политическими памфлетами, хотя и весьма талантливыми, образными. Его винули в том, что в сюжетах слишком много физиологии, даже грязного разврата и извращенчества. Он же считал это даже не столько отражением жизни, сколько, своего рода, протестом по отношению к ханжеской буржуазной морали и к истинному упадничеству нравов власть предержащих.

– Цинизм, – как-то изрёк он прилюдно, – отвратителен не тем, что он в действительности содержит в себе, потому что чаще всего он отражает саму жизнь, а тем, что его подленько покрывают жирным ханжеским слоем либеральной добропорядочности, а сами тайком вталкивают его в доверчивых людей, как член насильника во влагалище девственницы. Я сдираю с задыхающегося естества цинизма ваши безвкусные лаки и краски, смываю ваш отвратительный желтый жир и дарую ему волю, давая воздуха и первозданной свежести. Он свободно дышит и родит то, что может дать лишь щедрая истина, его мать, и с той минуты он уже не цинизм, не разврат, не извращенчество, а сама жизнь во всей ее живородящей мощи. Литература сильна не лицемерной краской стыда, а наглым бесстыдством человеческого бытия, сбрасывающим с себя прогнившие покрывала лжи, коварства, костного аскетизма и ветхих патриархальных философий. А вы говорите – физиология. Да, физиология! А что, господа-товарищи, есть ли в живом мире что-нибудь важнее ее? Называете ее цинизмом? А вы зовите ее жизнью! Так проще и понятнее, так честнее! Хотя, что это я тут распинаюсь, дурачина! Чести для вас также нет, а та, что есть, покрыта такой же ветошью, как и то, что вы зовете цинизмом. Так что плевать я хотел на ваш бутафорский, мещанский, фальшивый стыд! Вот вам все вечные человеческие страсти, начиная от дичайшего каннибализма и заканчивая жарким групповым коитусом! Всё называю своими именами, всё, что чувствую и желаю сам. Не нравится? Не жрите! Это мое откровенное совокупление с вашим вероломным обществом, это – соитие, в котором я всегда сверху, как естественная сила, а вы подо мной, как беспомощная продажная девка, которую я отымею и не заплачу ни копейки.

По трем его вещам поставили пьесы в двух московских и в одном питерском театрах. Народ на них валил шумной, веселой толпой – там была и политика, и беззастенчивая эротика, и шутовская издевка над властью, и высокомерное презрение к нравственным общественным установкам, и лютая ненависть к мелкому буржуа. То были красочные буффонады наподобие тех, что одно время ставились на сцене Театра на Таганке. Только делались они теперь быстрее, аляповатей, с демонстративной пошлостью, с нахальным вызовом общепринятой морали и традиционным вкусам. Ким на открытых генеральных прогонах (больше он на свои пьесы не ходил) с самодовольной усмешкой ошупывал взглядом лица приглашенных зрителей, все больше убеждаясь в том, что вкус и культуру им теперь вполне заменяют вульгарность и малограмотность, о чем они даже не подозревают, либо попросту не хотят этого знать.

– Вкус надо воспитывать, а грамоту постигать, – сказал он как-то в одном коротком интервью телевизионной юной дурехе, буквально атаковавшей его при выходе из питерского

театра после прогона, – С вульгарностью и пошлостью всё проще. Они приобретаются сами, если не особенно заботиться об образовании и не иметь ничего более или менее подходящего для сравнений.

– Но ведь это вы сочинили...! – округлились глаза девушки.

– Разумеется. А поставил не я.

– Они что же, своего добавили, вопреки... вопреки вашим идеалам?

– Добавили, добавили... – отмахнулся Ким, высокомерно ухмыльнувшись и делая решительный шаг в сторону, из-под объектива камеры, – Время добавило, а толпа приняла. Она еще не то примет, милочка!

...Приматов отбыл только год, а на два оставшихся его вытолкнули под негласный надзор в сибирский городок, в котором он и сошелся с Даниилом Любавиным.

Жизнь обоих с этого времени приобрела особый смысл.

Ссылка

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь – это вредная бессмыслица, приспевшая к нам от старого, по сути, либерального европейского еврея и его буржуазного германского друга, – говорил на полуподпольных вечерниках в сибирском городке писатель Ким Приматов, живший здесь в полном одиночестве, – Вся мощь протеста не в соединении, не в объединении, а как раз в его формальной разобщенности, или, если хотите, в национальной замкнутости, но столь естественной и столь схожей друг с другом по жизненно важным интересам, что не требуются ни сплывающие политические организации, ни международные связи, ни даже свои средства информации. Это как единство зверья: ему не нужны общие установки, потому что вся связующая суть в его природе. Национальный признак любого политического движения и есть гарант его успеха, потому что он объединяет не классовые группы, а, по существу, почти кровных родственников, говорящих на одном и том же языке и исповедующих одни и те же ценности. Даже если они не единоверцы, даже, если у них языки различаются, земля под ногами одна и кровь уже давно общая. И так каждая национальная группа, объединенная государством, естественным образом связана с другой такой же группой, потому что у них сродные, как у близнецов, проблемы, те же заботы и даже те же принципиальные, а не назначенные, враги. Глобализм – это как раз и есть объединение истинных врагов всех без исключения наций, подлейший интернациональный опиум либералов. Победить сих смертных врагов возможно только замкнув государства и провозгласив национализм, а, в некоторых важных случаях, и шовинизм, самодостаточной идеей. Даже если эти национальные государства будут пребывать друг с другом в состоянии войны, их противоречия не столь неразрешимы, как взаимная враждебность, с одной стороны, наций, а с другой – либералов-интернационалистов со всей их беспомощной болтовней о правах человека, о культурном единстве человечества и о прочей чепухе. У народов есть лишь два врага, с которыми следует бороться до последнего дыхания: либералы, развращающие человечество лживыми сказками о равенстве и свободе, за которыми в действительности стоят лишь грабительские интересы мировой буржуазии и его омерзительное величество Доллар, и национальные полицейские силы, как и спецслужбы, общим принципом существования и, более того, единственной целью которых является предельное обогащение высших державных вельмож и способствующий этому государственный террор.

Писатель снимал угол у того самого состарившегося неуёмного хулигана Прошки, которого когда-то порезал Даниил Любавин.

Однажды Приматов вырвал из рук лысого, как бильярдный шар, почти беззубого пьяницы Прохора Карелова початую бутылку водки и разбил ее о его голову. Крови было много. Карелов хрипел и хватал ртом воздух, а Приматов стягивал ему полотенцем голову и приговаривал, что любой стакан спиртного есть горючее для безжалостной броневой машины, как старой, так и новой буржуазии. Она, дескать, раздавит каждого, а для этого ей нужна энергия. Часть энергии буржуазия черпает из банков, переваривая гигантские денежные массы, а другую часть – из водки, которой щедро поит пролетариев и всякого рода несчастных, узколобых дураков.

– У тебя есть друзья? – спокойно спросил Ким бледного, как смерть, и замурзанного собственной кровью Прошку.

Карелов неожиданно для себя самого назвал Любавина, которого не то что не считал другом, а страшно боялся с того самого момента, когда тот его порезал в короткой драке, еще в юности.

– Пьет, как ты? – презрительно прищурился Ким.

– Не-е... Не как я. Немного, малость то есть... Он этот, десантник... Он меня резать хотел.

– Промахнулся? Десантник-то? – криво усмехнулся Приматов.

– Никак нет, – по-солдатски, с горькой застарелой обидой в голосе, ответил Прошка и закатал рукав.

Еле заметный, белесый шрамик должен был свидетельствовать о меткости и силе десантника Любавина.

– Чем он занят теперь? Народ режет?

– У него сын негр, Ванька, – некстати ответил Карелов и со стоном обхватил окровавленное полотенце на голове.

– Жена негритянка, что ли?

– Не-е. Нинка, наша. Потаскуха...

– А негр-то откуда?

– Хрен его знает! Родила вот, а Любавин воспитывает. С батей и с мамашей ихней.

– Тоже негры?

– Почему негры! Русские!

– Ты, видимо, еще не протрезвел...

– Трезвее некуда! Я тебе щаз по чалдону двину, чтоб не дрался... Водку верни, гад!

– Заткнись! Веди сюда этого Любавина. Будем дело начинать, если достоин. А то жрете тут, как свиньи, а вас имеют... Ты, небось, у участкового стукач..., за стакан.

Проخور из ослепительно бледного вдруг стал густо алым. Он попытался вскочить на ноги, но застонал и бессильно отвалился к стене, у которой сидел на скрипучем стуле. Он вдруг заплакал, слезы потекли на дряблые щеки, к опущенным уголкам тонких губ.

– Так как же..., как же не это... Ребра сломали, сволочи! Неделю держали в своем подвале..., в ментовке... Ни капли, ни капелюшечки во рте! А потом накатили и говорят, подпиши тут и тут. Жильца, мол, возьмешь, москвича. Из-за них, из-за московских, все беды у тебя. Слушай, гляди в оба, а уж мы тебе твоей отравы сколькo душа пожелает...

Приматов вновь усмехнулся, поднялся, прошелся по комнате и стал внимательно разглядывать Прошку.

– Дурак ты, – сказал он беззлобно, – Молодой еще, а выглядишь старше меня, старика. Спoили тебя, Иудой сделали. Почему московские виноваты? Кто это у нас из московских правил? Точно, дурак! Тебе врут, а ты веришь.

Прошка с удивлением поднял глаза на Приматова.

– А ты чего с такой фамилией? – словно боясь сдать последний свой пьяный бастион, потребовал он ответа.

– Добренко я по паспорту. Это – псевдоним... Литературный, если хочешь.

– Погоняло, что ли? Кликуха?

– Может и так.

– Ты у хозяина сколько раз был?

– Сколько был, всё наше с ним. Я за границей жил. Выгнали меня... за книжки.

– Во как! – Прошка от удивления раскрыл рот, с угла его потекла на небритый подбородок слюна.

Приматов неспешно достал из кармана несвежий платок, подошел к Карелову и заботливо обтер ему углы рта.

– Приведи этого... Любавина. Если сгодится для дела, я тебе денег дам. Но пить не позволю. Как хочешь, так и справляйся. А то садану по башке еще разок и убью. Я ведь ударником был, в группе в одной, в Мюнхене, а потом в Москве на тамтаме. Умею...

Прошка опасно отодвинулся в сторону, пошатая немного стул.

– Чего такое... ударник...? Передовик, что ли? Так я и сам..., на фабрике... Может и не передовик, но тоже кое-чему обучены.

– Передовик, передовик. По башке дать могу..., сам уже знаешь, – он свирепо заглянул прямо в глаза Прошке, – Только посмей у меня хоть каплю выпить, сволочь!

Несмотря на то, что об отце Кима никому ничего известно не было, он-то знал его историю. Действительно отец отсидел после войны политический срок по незначительному поводу, о котором не любил вспоминать, вернулся из лагеря старым, изможденным, каким его и запомнил маленький Ким, от шизофрении, вопреки слухам, никогда и нигде не лечился, в конце концов нашел добрую женщину и остался у нее, в убогой подмосковной деревушке. Попивал, как и многие. А умер от туберкулеза в областной больнице, где-то вблизи старого Ярославского шоссе.

Та женщина, что жила с отцом, донесла впоследствии до Кима одну его послевоенную историю, которая повлияла на осознание совсем еще юным Кимом того, что стойкости в жизни искать на стороне не стоит, ее там нет. Она должна содержаться в самом характере человека. Если же выпадет удача, если выступишь сам, то следует подставить плечо тому, кто такими качествами не обладает. Особенно, Кима сердила та слабость русского человека, которая приводит к пьянству. Вот тут может пригодиться стойкость близких людей. Потому-то, жестоко давя на Прошку, он считал, что понимает истинную суть той послевоенной истории, о которой рассказала сожительница умершего отца.

Оказывается, вскоре после войны его позвали в московскую милицию. Он раздумывал, даже ненадолго сошелся с участковым инспектором, тоже бывшим фронтовиком, и, возможно, дал бы согласие, но то, что с ним произошло в одно утро, утвердило его в мысли о собственной слабости.

Он долго был точно сам не свой – где-то уже давно шла послевоенная жизнь, пусть даже пьяная, недобрая, но и упрямая в своем стремлении выдавить все это из себя, а он как будто замер на развалившемся рубеже и, лишенный боезапаса, усталый, потрепанный, все никак не мог с того рубежа сойти. Словно не было приказа, а без него солдат беспомощен и от того необыкновенно зол и мстителен.

Однажды очень ранним утром он, мучаясь от бессонницы, подошел к грязному, замызганному окну в своей временной комнатке в одном из серых уголков Марьиной Рощи и тоскливо уставился в темное днище улицы. Напротив окон стоял, некрепко держась за покосившую цинковую сточную трубу, высокий, грузный солдат в расхристанной гимнастерке, со спадающими, не подвязанными ремнем, форменных штанах и в сбитых, пыльных кирзовых сапогах. Рядом, на грязной земле, лежала скомканная пилотка. Солдат, покачиваясь не то от боли, не то от пьяного забытья, пытался нагнуться, чтобы поднять пилотку. На его груди колыхалось несколько медалек, он прижимал их время от времени рукой, словно успокаивал, и вновь нагибался. Голова, наконец, перевесила тело, и солдат рухнул носом вперед. Он все же успел ухватить рукой пилотку, но тут же рефлекторно подогнул под живот колени и окончательно замер.

Отец Кима много раз видел, как умирает в бою солдат – если смерть настигает его неожиданно, пулей или осколком, он падает в нелепой позе, мгновенно теряя способность к движению, но если смерть приходит хотя бы с небольшой задержкой, давая ему несколько мгновений, он, впадая в агонию, поджимает под живот ноги также, как новорожденный в утробе матери. Солдат возвращается назад к тому, с чего когда-то началась его короткая, несчастная жизнь, словно молит о защите у матери, давшей ее ему. Он уже не солдат, а обыкновенный человек, вдруг прекративший, не по своей воле, земное существование.

Ему пришлось увидеть десятки, сотни таких тел с поджатыми к животу коленями, лежащими в позе эмбриона на выжженном поле, под стенами разрушенных домов, в простреленных

насквозь подвалах, в полусасыпанных окопчиках и блиндажах, в глубоких, черных воронках, у разбитых орудий.

И вот теперь у него под окнами лежит этот солдат, поджавший так же, как и убитые, колени к животу, зажавший в руке свою пилотку, точно просил о последней помощи. Не будь он в несвежей, выцветшей солдатской гимнастерке, не кольхались бы у него на груди несколько медалек, не серели бы пылью и кирзовой усталостью сбитые сапоги, отец Кима, возможно, просто с брезгливым чувством отошел бы от окна, но сейчас, захлебнувшись волной воспоминаний, бросился из комнаты, стрелой пролетел по темному, безлюдному в этот ранний час коридору коммунальной квартиры и, громко топая, кинулся вниз, к выходу из подъезда. Он распахнул дверь и увидел лежащее на другой стороне улочки беспомощное тело солдата с зажатой в кулаке пилоткой и с вытянутой вперед другой рукой. Он в несколько прыжков подскочил к телу и присел около него.

– Браток! Браток! – давясь словами, прошептал он, – Ты чего, браток! Вставай! Вон же кровяшка из носа идет...

– Не встанет, – услышал он над собой и быстро поднял кверху глаза.

В двух шагах от него стоял невесть как оказавшийся тут знакомый уже участковый, в полной форме, с планшеткой в руке, с раздутой кобурой на ремне, в мятой фуражке. Участковый присел на корточки рядом, глядя на лежавшего в бесчувственной позе солдата, будто врач. Покачал головой и повторил:

– Не встанет этот браток..., пока не протрезвеет.

– Так что ж! – сквозь зубы, злясь на этот очевидный диагноз, сказал отец Кима, – Бросать что ли его! Это ж все равно как раненый... Победитель же он!

– Этот ранен не пулей и не осколком, – ответил милиционер и медленно выпрямился, – этот, можно сказать, насмерть убитый. Водкой..., будь она проклята, вражина!

– Не убит! Ранен..., не убит! От счастья он! От того, что живой...! Помочь надо.

– Убит! – упрямо твердил милиционер, – Я таких убитых навиделся уж! Там враг стрелял, а тут свои..., наливай да пей, победитель... Вернулся вот, да холодный замок, видать, поцеловал... А то и вовсе замка уж нет! Один он..., как окруженец. Таких окруженцев точно грязи теперь. Хорошо, если выживет, если к своим выйдет, а то вот так и подохнет... на самом деле подохнет. В канаве, под забором. С медальками со своими.

Участковый, тяжело вздыхая, опять нагнулся и вдруг, решительно сграбастав солдата в одно крепкое объятие, умело и привычно поднял на ноги. Тот замычал что-то невнятное, открыл мутные, бесчувственные глаза и длинно выругался. Но на ногах все же устоял, тяжело опираясь на плечо милиционера.

– Ты иди себе, Добренко, – твердо сказал участковый, удивив тем, что запомнил фамилию вполне еще случайного человека, – Гляди, как бывает... Пуля его не взяла, а водка подкосила, что твой пулемет. И будет косить, пока не ушибет насмерть или же сам он ее не ушибет! У меня деверь такой же..., морячок... Из Мурманска, в морских конвоях ходил, ...тонул, топил, а теперь пьет ее, проклятую, как воду... Дурак! Тоже... победитель! Песни горланит...

Добренко, мрачно глядя вслед удаляющимся милиционеру и пьяному солдату, подумал, что действительно это похоже на боевое ранение, один тащит другого – так и с ним было, он тогда шел в тыл и волок на себе израненного, почти неживого заряжающего, единственного, кроме него самого, оставшегося в живых после ночного боя. Но тут было что-то еще страшнее, что-то напоминающее подлую засаду. Предательство, обман, ложь! Почему все пьют? Почему никак не выйдут из своих боёв? Что за напасть такая! Неужто и у немцев так же? Они проиграли, а мы ведь выиграли... Мы же выиграли!!! Мы же победители! Что ж это нас так косит-то!

Попрошаек-то сколько! На тележках, без ног, одноруких, безглазых, с орденочками, с медальками... Пьяненькие, матерятся, косят всех вдоль и поперек. Черно в глазах от них, глохнешь от их голосов, от стонов, от слез. Люди глядят на калек сверху вниз, с жалостью, с

презрением, с ненавистью, с равнодушием, а те хоть взглядов и не отводят, видят, однако же, только друг друга, только войну помнят, и как искалечило, и как выжили, и тех, кто не выжил, и как на двух ногах, о двух руках жили когда-то, до войны, а теперь вот не живут и не помирают. Кто-то устроился, кого-то пригрели свои, кто-то женщину нашел, потому что почти нет неискалеченных мужчин, и даже такой иной раз в радость бывает. А кто-то так и не преодолел последнего своего рубежа, живя лишь водкой, как воздухом, а днем – как бесконечной ночью, в отчаянии и злобе.

И вдруг он вспомнил о людях, которые сейчас проснутся и выйдут в город по своим неотложным делам, о Лемешеве с его нежным тенором на граммофонных пластинках, что слышен по воскресеньям из окон деревянных бараков Марьиной рощи и из дворов нескольких, довоенных еще, каменных домов, и подумал, что это два несовместимых мира: один жалкий, кровоточащий, недобитый врагом, а другой – только-только появившийся, послевоенный, еще не знающий себе истинную цену. А он ни в том и ни в другом. Замер посередине и не знает, куда идти без приказа и устава.

Вот и Прошка, никогда не видевший тех страшных в своей обыденности смертей, рассуждал Ким теперь, такой же раненый солдат, но не пулей, а нынешним несправедливым временем, нищетой и подлой мглой безверия, и ему надо подставить плечо и отвести его домой, где тепло и где есть друг. А если нет там его, то стать им. Много в жизни изменилось, а это осталось прежним.

Как ни странно, но Прохора Карелова с тех пор не то что пьяным, но даже хмельным никто не видел. Он вернулся на фабрику, устроился вахтером на воротах и был настолько строг, что даже в дирекции были поражены. Там ведь хорошо знали и Прохора, и его покойных родителей, и братьев с сестрами. Все были пьяницами. А тут такое преображение! Вроде бы и не лечился, в психушке не лежал.

Ким Приматов обладал удивительным чутьем на людей. Седенький, жилистый, низкорослый, тощий, в круглых очках, коротко стриженный, с внимательными, холодными глазами. Смотрит и молчит, вглядывается, жует бескровные губы. Потом или отвернется, и это навсегда, или улыбнется, живо и тепло. Это тоже навсегда. Он в людях не ошибался. Так, во всяком случае, казалось до поры до времени.

Следователь, который вел его последнее дело, был в душе восхищен этой его способностью видеть глубоко и чутя издали. Ни одна камерная «наседка» не принесла от Кима ни слова. Не то он их раскалывал, а потом перевербовывал на сторону своей ультралевой правды, не то игнорировал, оставляя без работы в пустой камерной тоске. Оперативник, который и подсаживал «наседок», сказал как-то следователю на нетрезвую голову, что будь Ким Приматов «опером или следаком», никто бы не открутился, любого бы за Можай загнал.

То, что «наседку» можно перевербовать, у оперативников не вызывало ни малейших сомнений. Единожды предавший, по общему мнению, предаст не раз. Кое-кто ведь предавал трижды еще до того, как пропоет петух. Но после такого последовательного предательства вполне можно было ожидать и от обычных слабых людей величайшего раскаяния и уж такой неожиданной твердости в дальнейшем, что непримиримее врага для старых хозяев уже было не сыскать. Оскорбленный неизбывным позором предательства, вогнанный силой и обманом, да и собственными страхами, слабостями и злобой в плесневелый колодец измены, винит себя настолько искренне, что не имеет к себе ни жалости, ни прощения. А тот, кто искусил его, кто столкнул в ту смрадную яму, и вовсе не может рассчитывать на его милосердие.

Поэтому кимовских «наседок» старались в дальнейшем использовать исключительно в примитивной уголовной среде, но ни в коем случае не в политических оперативных разработках. Им больше не было того специфического доверия, которое, казалось бы, непременно

существует между хозяином и агентом. Хотя это и доверием-то нельзя было называть с самого начала, а скорее, сговором.

Нередко к Приматову подсаживали двоих сразу, сидевших «втемную», то есть ни тот, ни другой не знали, что оба работают на хозяина. Позже оперативники принимали от них агентурные сообщения и в отношении Кима и в отношении друг друга. И все равно до конца им уже веры не было. По мнению оперативников, вся вина лежала исключительно на одном Киме Приматове – он и только он способен был развернуть испытанную временем и вымаранную кровью машину предательства в обратном направлении и раздавить ее же инженеров.

Похоже, он догадывался обо всех этих комбинациях и с удовольствием «развращал систему», как он потом не раз со смехом это говорил.

– Вывожу из строя секретное оружие врага, – сказал он как-то уже на воле, – вроде бы оно есть, а вроде бы и нет уже! В доверии отказано. Не то свой, не то чужой? Дорого я им, свиньям, обхожусь! Убьют когда-нибудь... Так ведь дешевле.

Потом во время этого короткого разговора он вдруг посерьезнел и закончил угрюмо:

– Вся их система такова: снизу доверху. Ведь и сами толком не знают, кто там свой, а кто чужой. О себе самих даже не знают. У них нет никаких убеждений, ничего святого за душой! Одни лишь алчность и страх. Как с этим жить? Ну, допустим, жить с этим они научились, но как вербовать, как убеждать подличать, доносить? Только силой, только подкупом, только обманом и угрозой! Что же ты, в таком случае, ожидаешь в ответ? От силы – слабость, немощь души, от подкупа – продажность, от обмана – еще большую ложь, а от угрозы – месть. Рано или поздно, непременно, месть!

Человек, которому он это сказал, как раз и был агентом. Похоже, Ким догадывался об этом. Донес ли он тот разговор до хозяев, неизвестно, но рядом с Кимом его больше никто и никогда не видел.

...Ким Приматов внимательно посмотрел на Даниила Любавина в первую же встречу, с трудом устроенную Прошкой, и сказал с таким видом, будто в чем-то винил должника:

– Ты же писатель от рождения. Одаренный человек. А ведь пьешь? Пьешь же! Ты учиться иди. На филологический. У тебя выйдет.

– Я в ментовку хочу. Там платят.

– В ментовке платят. Кое-как..., но платят регулярно. Это верно. Но и спрашивают душу за тридцать сребреников. На филфак иди. Это – твое!

– А вы откуда знаете?

– Я много чего знаю.

– Так я уже писал... один раз. Тут в газете печатали. В прошлом году.

– Читал. Рассказик. Плохонький, провинциальный. Сюжетик, правда, ничего. Слезу вышибает. О таксисте, верно?

– Верно.

– Ну, вот, а говоришь, в ментовку...

– Сами же сказали, рассказик плохонький.

– А во мне зависть говорит. Ты талантливей меня. А это трудно! У тебя даже первый опыт талантливый, хоть и плохонький. Знаний не хватает, образования. Но ты самородок! Только родился в такие паршивые годы, когда самородки не распознают, а швыряют в грязь, под ноги. Я вот поймал и говорю: иди учиться.

Потом подумал немного и вдруг спросил уже с усмешкой:

– Чужого негра воспитываешь?

Любавин неожиданно для себя тоже рассмеялся:

– Чего его воспитывать? Он и сам кого хочешь... Мать-то бросила. Теперь мой, да дедов с бабкой. А писать? Забыл уж, как слова слагаются. Тогда случайно вышло.

– У вас где филфак?

– В педагогическом. В области. Поездом три часа. Бывают перебои: то снегом пути занесет, то речка разольется, что твой океан, а то еще чего... Не наездишься!

– Поступай на заочный. Сопьешься ведь! Талант загубишь. Тебя даже твой усыновленный негр будет стесняться.

– Зачем я вам? Почему подослали Прошку? Его тут за человека не считают. Он меня три дня упрасивал, дурак!

– Ты мне не нужен. Я тебе нужен. А когда такие соберутся побольше, сам поймешь, для чего всё. Недолго ждать. У вас тут москвичи хозяйничают, скупают все без разбора, выкачивают. С этим надо бороться.

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь... – с кривой усмешкой сказал Даниил.

– На все страны наплевать и растереть.

Вот тогда он впервые и произнес ту длинную фразу о наивной глупости старого немецкого еврея и его буржуазного единомышленника.

Невесть каким образом Любавин остановился, остолбенело осмотрелся, подивился самому себе и вдруг, к общему изумлению, поступил на заочное отделение филологического факультета в областном педагогическом институте.

Через полгода учебы у него появилась повесть. Ким прочитал ее, сделал совсем небольшую правку, поворчал немного о том, что молодые обскакивают стариков и отправил в московскую редакцию, к своему старому приятелю. Повесть вышла и тут же схватила большую литературную премию.

Первая ослепительная высота была взята легко. На страховке стоял мудрый ироничный старик Ким Приматов и раскидывал свои игральные карты с лицами-перевертышами. Где оригинал, а где отражение? В том, что пишешь, или в том, что делаешь с его же страховкой.

Новые пространства

С призом, имевшим не только соблазнительный вид изящной божественной статуэтки, но и с определенным финансовым смыслом, начинающий писатель Даниил Любавин вернулся из Москвы к Киму Приматову.

– Со щитом? – спросил зачем-то Ким и тепло рассмеялся.

Любавин смущенно сунул ему в руку статуэтку и конверт с деньгами.

– Вот. Это ваше.

– А ты, стало быть, вышел только покурить? – уже строго спросил старик.

– Я еще заслужу.

– А я уже заслужил. Убери.

Они пили пустой чай вчетвером, с Прошкой и с его новой подругой, тихой женщиной по имени Марина.

– Теперь тебя начнут издавать. Кино снимать. Репортеры понаедут, в телевизоре будут мучить, радищики трезвонить по всякому дурацкому поводу. Ты не сдавайся! Это все суета. Пиши. И думай. Твоя повесть о людях, об обычных. Там даже твой негритенок есть, как живой. О своих думай, о русских. О рабочем человеке, которого гнетут и давят, кому не лень. И будут давить, если не ты и не я, и не Прошка вот... Ничего не бойся! Пусть теперь они боятся.

У Прохора от удовольствия быть упомянутым самим Кимом Приматовым, да еще в компании с Даниилом Любавиным, даже заалела лысая голова, а в глазах сверкнули мелкие звездочки слезинок. Он засмутился и отвернулся к окну. Когда он всего лишь через несколько мгновений повернулся к столу, за которым все сидели, глаза его уже были стальными, жесткими, будто мысли о тяжелой участи рабочего люда вместо зрачков вбили в его глазницы гвоздики с плоскими шляпками. Сквозь сжатые побелевшие губы он шепнул что-то злое и короткое, словно клацнул остатками ржавых зубов.

Все с изумлением посмотрели на него, но то было разное изумление: у Марины чуть с испугом, как у женщины, неожиданно увидевшей гнев близкого, всегда беззлобного мужчины, у Даниила с таким видом, точно заговорил, наверное, табурет, а у Кима лицо выражало, скорее, недоверие к своим собственным способностям растормошить давным-давно потерянного человека. Он называл таких людей «пехотой без головы», для которых жизнь в мирное время – лишь сплошной, поросший бурьяном, овраг, а в войну – бесконечный окоп. А тут на тебе! Такого поднять, зажечь было невозможно, разве что, строгим, беспощадным приказом и грубым тычком командирского сапога под задницу. Ким был уже очень давно убежден, что таково свойство целого народа, с незапамятных времен неспособного отличить врага от друга, тыл от фронта, а правду ото лжи. А уж разбудить в подобном народе чувства сострадания именно к тем, кто этого заслуживает, не сумело ни целое поколение пламенных революционеров, ни последующее поколение тайных и явных контрреволюционеров. Неужели, на примере спитого Прошки, он, Ким Приматов, сумел? Вот к этому-то и было его недоверие, ясно запечатленное на лице в тот момент, когда Прошка неожиданно всплакнул и тут же, высушив слезы, сменил их слабость на свинцовый, вполне осознанный гнев.

– Что ты, Проша! – Марина сжалась, ожидая чего-то очень дурного.

– Ничего, – угрюмо ответил Прохор, – Гнетут и давят, гниды! Гниды, гниды...!

Наступила тишина, как в горах сразу после обвала. Ким печально покачал головой и строго обвел всех взглядом, чтобы ненароком не нарушили торжественности момента возрождения души потерянного и вот теперь оживающего человека.

Ким стал рассказать о своих леваках, обитавших в Москве. Говорил о том, что там много глупой молодежи, которой только остроты жизни нужно. Эту остроту, мол, им вполне могут предложить и буржуи в правительственных организациях, которым наплевать и на конститу-

цию, и на народ, и на русских. Нужно писать, нужно им сопротивляться и постоянно держать их в страхе. Самих же их бояться не следует. Жизнь это давно уже доказала. Он говорил, а Прохор сурово кивал и кивал своей лысой головой.

Любавин продолжал учиться, работать на токарном станке в том же мебельном комбинате и много писать. Но главным для него все же теперь стали посиделки у Карелова с Кимом Приматовым.

В ячейку входило человек тридцать или чуть больше. В основном, то были учащиеся фабричного колледжа, недавно преобразованного из ПТУ. Было и несколько раздраженных пенсионеров в вечно засаленных пиджаках, в традиционных кепках или шляпах. Но постепенно, как это ни странно, оппозиционная компания Кима стала обращать на себя внимание и городской власти, и привычно безразличных ко всему на свете, недоверчивых и скучных горожан.

«Подпольщина», которой занялась ячейка под наблюдением старика, была весьма странной. Скорее всего, Приматов просто доставлял людям, входившим в его ячейку, необходимое удовольствие от приключенческой жизни. В основном, они устраивали малочисленные и очень краткие забастовки в городке, чуть крупнее – в области, где у них появились единомышленники, регулярно ездили в Москву на оппозиционные сборища в конце каждого месяца. Попадали в полицейские машины с завернутыми за спину руками, в столичные и областные кутузки, в административные, а как-то раз двое из них, в уголовные суды, на страницы крикливых газет, на жадные экраны телевизоров и в лихое, нечистое по своей природе, Интернет-пространство. В Москву их часто сопровождал Ким Приматов. Ему удлинители срок административной высылки, хотя это изначально было как будто и незаконно. Однако нашли какой-то хлипкий повод.

В городке группа ультралевых последователей Приматова стала вдруг расти. Базировались они у Прошки Карелова и у его тихой Марины, о которой говорили, что она несколько раз побывала в областной психиатрической лечебнице за суицидальные попытки. Марина относилась к тому нередкому типу европейских женщин, у которых никогда не угадывался возраст, видимо, из-за блеклых красок лица и хрупкости сложения. О таких еще говорили, что они как будто выцветшие. В действительности подобные женщины никогда не достигали высот цветения: из тщедушных, сонных младенцев становились худенькими, слабенькими на вид девчушками, а потом уже, в молодости, но особенно, в зрелости, лица их без всякого расцвета становились выцветшими, невзрачными, с мелкими морщинками вокруг бесцветных глаз и бледных, тонких губ.

В приматовскую «компанию» входили уже не только студенты и пенсионеры, но и рабочие, вдруг осознавшие свое утраченное общественное значение, а потом даже появился майор полиции, местный Омоновец, поэт Федор Разумов. Его, разумеется, из полиции немедленно уволили. Правда, тогда многие и сами уходили – платили им гроши, в привилегиях и в государственной поддержке бессовестно отказывали, роста по службе не обеспечивали. Да и как это было сделать, если не было ни новых должностей, ни денег в областных управлениях, ни уважения от населения, которое склонялось больше договариваться с известными им богатеющими уголовниками, так или иначе держащими сказанное слово, нежели с полицией, никаких прав даже на собственное слово не имеющими. Разницы в том, что раньше они назывались милицией, а теперь полицией никто не ощущал – люди были теми же, повадки нисколько не изменились, разве что форма стала иной: из мышины серой – по-вороньему черной.

Ким Приматов помог Разумову издать толстый сборник стихов и тот даже получил в Москве вторую премию на одном небольшом, малоизвестном конкурсе. Разумов даже проследил за ним, порывисто обнимая Приматова, клялся ему в вечной дружбе, в верности, а еще горячо говорил, что употребит все свои силы на его защиту.

Таким образом, премированных литераторов в Приматовском окружении прибыло. Это уже стало обращать на себя внимание даже в столичных литературных и околостолитических, а скорее, в более или менее рафинированных политических кругах. Такие в России всегда существовали как при тиранах, так и в самое смутное, неуправляемое время. Многие провоцировали именно они, а остальным цинично пользовались, как источником для своих политехнологических вдохновений. Некоторые, самые остроумные, лепетали в интеллигентской среде, имевшей старые связи среди непотопляемой цековской номенклатуры и черпавшие и в ушедшие, и в новые времена оттуда немало удовольствий, что новая провинциальная поросль, как в литературе, так и в политике, интересуется их лишь в качестве инструмента для нового общественного эксперимента. Впрочем, в начале это действительно могло быть в той или иной степени рискованным лабораторным опытом, которому не придавали особого значения в верховном управлении страной. Но жизнь показала, что выведенные в пробирках микробы далеко не всегда бывают полезными для общественного организма. Случается, они вырываются наружу и наводят свои порядки на земле. Но тогда экспериментаторы, не имея еще достаточного опыта или забыв его «революционные» результаты начала двадцатого столетия, беззаботно манипулировали микроорганизмами, пренебрегая тем, что те имеют свойство приспособляться, изменяться и вступать в такие химические реакции с различными реактивами, результаты от которых способны погубить то, что во много раз больше и значимее их.

Понимал ли это Ким Приматов или нет, сказать трудно. Но те, кто знали этого хитреца, этого жилистого, моложавого старого лиса, должны были, по крайней мере, насторожиться. Однако на общем задорном фоне головокружительных, скорых обогачений и разорений такое появление в столице неприметных провинциалов из далекого сибирского городишки ни у кого еще не могло вызвать тревоги.

...А потом административная высылка Приматова закончилась и местные власти срочно вытолкнули его в Москву. Там лютовали, грозились наказать за самоуправство областное УВД, но те выстояли. Им этот «мощный старик», как его называл по-бендеровски начальник областного ФСБ, был совершенно тут не нужен. Следом за Кимом в столицу укатили сначала Любавин, продолжавший учиться на своем заочном факультете, потом Прошка Карелов с Мариной, следом за ними – бывший офицер ОМОНа, поэт Федор Разумов, и еще человек пять или шесть.

Ким Приматов, как обычно, везде оставлял глубокий след, точно отпечаток подошвы башмака в разгоряченном асфальте. В городке появились новые лидеры – заматеревшие смутьяны. Их пока интересовала не столица, а правление в городе, затем – в обширной и богатой области.

Те же, кто уезжали с Кимом либо следом за ним, сопровождалась семьями. В Москве они устраивались на работу, регистрировались кто как мог и продолжали свое литературное и подпольное дело. Литературное – потому, что почти все где-то как-то печатались, издавались, а их подпольная компания называла себя литературно-поэтическим объединением.

Любавин уехал в Москву с прижитым сыном Ваней и с вернувшейся к нему притихшей Нинкой. Ее шумного дружка пристрелили за год до того конкуренты. Нина испугалась и кинулась в ноги к мужу. К тому же, у него уже вышли две книги, а по первой он был известен не только в городе и в области, но и в столице. Две изящные новеллы и короткая патриотичная повесть с успехом были приняты читателями толстого литературного журнала. Что-то уже даже перевели и издали в Германии и в Италии.

Повзрослевший темнокожий Ваня стал работать в развлекательной московской телекомпании ди-джем и ведущим каких-то шуточных коротких новостей. На действительную службу его не взяли еще там, в Сибири, будто он был инвалидом. Ваня даже обижался. А ему сдержанно кто-то объяснил, что нельзя, чтобы в русской армии было как в американской. Цвет кожи у всех должен быть единообразным, по уставу. А то что иностранцы скажут? Ваня сми-

рился. Тем более, он выиграл пару свободных лет в сравнении со своими бледнолицыми сверстниками. Да и девушки его любили. Как раз за то, за что не любили таких, как он, косные генералы.

Как раз в это время состоялось знакомство Любавина с молодым приятелем Кима Приматова поэтом и прозаиком Андреем Соловьевым. Его уже знали под литературным псевдонимом «Антон Спиноза». Чаще всего он так и подписывался.

Антон Спиноза

Андрей, он же Антон Спиноза, происходил из семьи ученого-физика Исаака Львовича Соловьева, когда-то вредящего антикоммуниста и самозваного диссидента.

Отец Исаака Львовича, наборщик в львовской типографии, когда-то носил фамилию Соловейчик, но в самом начале двадцатых годов ему уже в Москве в документы внесли изменения и с тех пор семья стала называться Соловьевыми. Только один член семьи, молодой дядька Исаака, младший брат его отца, сохранил старую фамилию. Он вообще был человеком упрямым, как, собственно, и все остальные Соловьевы, бывшие Соловейчики.

Как-то поздним бабьим летом восемьдесят пятого года в дверь к Соловьевым в два часа ночи позвонили. Дверь, ворча, отомкнула мама и тут же ахнула. На пороге стоял древний старик, возраст которого почти невозможно было определить. Семья Соловьевых всегда помнила этого человека, но, насколько знал Андрей, никогда не ведала, где он и как жил, да и вообще жив ли.

Старик закричал и по-детски искренно улыбнулся беззубым ртом сквозь белую спутанную бороду. Слезящиеся темные его глаза также не по годам наивно сверкнули ребячьим задором.

– Вот, – сказал он, покашливая, – Добрался, наконец... Не обессудьте, я не помирать к вам, а всего лишь за самой малой помощью... Чтоб пристроили куда-нибудь в скромное стариковское местечко... Раньше-то у этих мест свое название было...богадельня. Да тогда, вроде бы, в бога веровали, а теперь...на одного себя надейся..., а я вот, на вас, родные... Уж не сердитесь!

Об этом старике Андрею потом не раз рассказывал отец. Он был дядькой отца Андрея – Яковом Соловейчиком, когда-то осужденным по статье 58-10 старого кодекса за контрреволюционную агитацию и пропаганду. Что-то он там высказал слишком уж либеральное на коллоквиуме по истории партии – не то сравнивал взгляды на оппозицию Ленина и Мартова, не то позволил себе какие-то откровения о последнем прижизненном ленинском конфликте со Сталиным или даже вспомнил о ссоре того с Крупской во время болезни Ленина. Так или иначе, вел контрреволюционную агитацию и буржуазную, меньшевистскую пропаганду. Сам он об этом даже не догадывался, потому что никаких таких целей не имел и иметь никак не мог. Однако ему и скороспелому советскому суду органы НКВД это доказали за весьма короткое время. Словом, Яков Соловейчик попал в постоянно бурлящий поток очищения общества от оппортунистических элементов, вредителей, шпионов и диверсантов, и тот жестокий поток понес его по жизни.

Андрей его помнил очень смутно, несмотря на то, что видел несколько раз. И тогда, когда она впервые пришел, и позже, когда Яков жил в подмосковном доме для престарелых, в бывшем доме Ветеранов. Он раза два или три сопровождал туда отца.

До первого своего ареста Яков был студентом механического факультета Московского Университета. В сорок первом году, в середине сентября, его и еще две сотни таких же, как он осужденных «врагов народа», отправили прямо из Можайской колонии в Черную Грязь на Ленинградском шоссе рыть окопы и устанавливать противотанковые ограждения. Бои там гремели уже такие, что сохранить лагеря, да еще кормить в них осужденных и охрану, было невозможно. Кого-то срочно расстреляли, кого-то успели отправить дальше в тыл, но большая часть осужденных была уже почти предоставлена сама себе. Многие сбежали, да вот не знали, куда идти: в тыл к своим, значит, опять в лагеря, если не расстреляют впопыхах, немцы тоже вряд ли пожелали бы возиться с этой публикой, а спрятаться здесь, в разбомбленных и пожженных деревнях было негде. Так и метались по дорогам, скрывались в редких лесах. Остальные, кто

отказался от побега, с отчаянием ждали решение своей судьбы. Вот тогда их и повезли на оборонные работы.

Заклученных сопровождала немногочисленная охрана. Приказ об использовании «з/к» исходил из московского НКВД, перед которым самим Сталиным была поставлена задача обеспечить всеми силами строительство фортификационных сооружений на пути у стремительно наступавших на столицу немцев. В приказе было написано совершенно категорично – в случае попытки заключенных перейти на сторону врага или даже попросту уклониться от земельных работ, безжалостно расстреливать перед строем и тут же укладывать на самое дно противотанковых рвов, в тяжелую, влажную глину.

Яков, однако, и тут отличился. Как-то утром, когда землю сковал первый морозец и по твердому настилу заметался неведь откуда взявшийся тощий заяц, Яков громко объявил: «Ленина бы на тебя, косой!» Донесли, и хотели было уже вывести в «расход», по законам военного времени, за ту же контрреволюционную пропаганду, но Яков попросил последнего слова. А за словом он, как известно, никогда в карман не лазил. Нехотя, с кривой усмешкой, седовласый председатель полевого суда, до войны гражданский прокурор, согласно кивнул.

«Ильич тут охотился, как раз в этих самых местах, – сказал, лучезарно улыбаясь, Яков Соловейчик, – Я вот о чем говорил. Приезжал с ружьишкой и постреливал. Это во многих воспоминаниях имеется. Косой, конечно, этого не знает и знать не может, но мы-то, советские люди, не можем забывать того, что наш великий вождь страстно любил. Он был близок к природе, уважал всякие народные промыслы и подавал этому личный пример. Между прочим, говорят, метко стрелял, а эта редкая способность сейчас пригодилась бы каждому защитнику Советского Отечества! Уж извините, гражданин судья, если меня кто-то неверно понял. Так разве ж в том теперь дело?»

Расстрел не состоялся. Якова вернули в отряд, и он продолжил рытье окопов и рвов. Однако немцы все равно прорвались, и «зэки», среди которых был Соловейчик, разбежались кто куда. Охрана исчезла еще раньше их. Оно и было понятно, потому что «зэков» немцы могли и помиловать, а вот работникам НКВД рассчитывать было не на что. Хотя и Яков Соловейчик, еврей и до осуждения комсомолец, подавший заявление в партию большевиков, был бы уничтожен даже быстрее охраны.

Он пешком пошел в ближайший стрелковый полк (шел целую ночь километров десять по лесам и полям) и был тут же, без лишних разговоров, вооружен трехлинейкой и даже обут-одет как обыкновенный красноармеец.

Его даже не спросили, откуда он, от какой части отстал, а просто вручили оружие и показали место в окопе. Командир полка был серьезно ранен, его комиссар паниковал, что за оборону участка теперь придется отвечать ему лично, командный состав почти выбили в боях под Можайском, а держаться неизвестно сколько, да еще без всякой связи с тылом, теперь должны были безусые новобранцы, знавшие только что такое стремительное отступление, да еще пара десятков усталых, измученных старослужащих, тоже никогда, по существу, в настоящих боях участия не принимавших. Кроме всего прочего, боеприпасов оставалось очень и очень немного. Так что спрашивать у Якова, откуда он взялся и почему на нем нет положенной формы, было попросту некому, да и незачем.

Соловейчик за всю войну был дважды ранен, один раз легко, другой – тяжело, но всегда возвращался в строй того же батальона, той же роты. Заслужил несколько медалей за свою честную смелость, за молодецкое отчаяние, с которым дрался, за легкий характер и искреннюю улыбку. Так и говорил, показывая на медальки: «Вот эта за улыбку под Киевом, а вот эта за улыбку под Варшавой, а вот эти две – за то, что хохотал от души, до слез, в Берлине, а после уж в Праге!»

Войну он закончил в скромном звании младшего сержанта и приехал в Москву в поисках своей семьи. Женат он никогда не был, детей тоже не завел, поэтому особенно ценил отцовскую семью, где его племянником был умный мальчуган Исаак.

Исаак, в будущем, отец Андрея, родился в январе сорок первого года, Яков его до войны не видел, потому что уже в это время сидел по своей контрреволюционной статье 58-10. Теперь он нашел всех своих домашних целыми и невредимыми на Большой Ордынке, в той же квартире, в которой они же, еще до его ареста, все вместе жили.

А дальше случилось то, что не могло не случиться с этим улыбчивым и наивным человеком. Правда, тогда он улыбнуться даже не успел. Историю его второго ареста рассказал Андрею уже много позже, после смерти Якова Соловейчика в нищем доме престарелых в 97-м году, его любимый племянник Исаак. Андрей запомнил ее так, словно сам был при этом.

Всё случилось поздней весной сорок шестого года в Москве. Яков еще осенью сорок пятого устроился работать столяром (эту специальность он освоил в довоенную свою судимость) на деревообрабатывающий комбинат в Замоскворечье. Когда его спрашивали, где он работает, то усмехаясь своей обычной, задорной, улыбкой, отвечал: «Для московских скворцов мебель сколачиваем!» Так ему слышалось это название – «Замоскворечье». Однако скворцов в те времена, как утверждал Исаак, там не водилось, еще было слишком голодно. Зато в кабаках, рюмочных, пивных, чадя сигарками, сидели, будто те самые скворцы в скворечниках, сотни отставных солдат, матросов, демобилизованных офицеров с медалями, орденами, с новыми планками на кителях со споротыми погонами, в бушлатах и телогрейках, в полинялых гимнастерках, а то даже и в парадных мундирах. Пили, орали, ругались, дрались, выхватывали самодельные финки, эсесовские ножи, трофейные браунинги, люггеры, ужасающей мощи ТТ, не сданные властям. Много было инвалидов – и очевидных, с ампутациями, и таких, у кого инвалидность подгнивала в возбужденном взгляде, в воспаленной, обгорелой коже, в желтой, либо, нередко, в кровавой пене рта, в неудержимой дрожи узловатых рук.

Яков многих из них уже узнавал и по фронтам, и по ранениям. Казалось, пошел новый счет на боевые части: не по тому, кто справа, кто слева, а потому, кто выжил, и кто лишь думает, что выжил. То были боевые части военных калек и неудачников обескровленного фронта и обнищавшего тыла.

Но однажды до Якова дошло, что среди них попадаются и мошенники, выдававшие себя за фронтовиков, а на самом деле наживавшиеся на чужих болях, чужих культях и искалеченных судьбах. Это были и случайные «гастролеры», и даже целые шайки, возглавляемые опытными мазуриками. В послевоенной столице образовался черный рынок неизбежного военного горя, на который была своя цена.

Об одном таком ему поведал случайный человек в пивной в Лаврушинском переулке, рядом с развалившейся церковью, которая теперь была складом для того самого деревообрабатывающего комбината, где он строил свои «скворечники». Человек тот не воевал из-за еще довоенной инвалидности, но как будто бы знал многое и о многих. Кивнул на соседний стол и, щури лукавые глаза, шепотом просипел Якову:

– Вон он сидит сволочь! Этот, с майорскими пагонами, танкист.

– Ну, – посмотрел на майора через плечо Яков, – И чего!

– А не чо! – грубовато ответил человек, чуть повысив свой сиплый голос, – Я не воевал...по здоровью, и не говорю, что воевал... Потому как уважаю фронтовиков! А этот...гад! Он такой же майор, как я балерина Большого театра.

– Не понимаю, – Яков был уже сильно «под мухой», но себя еще вполне осознавал, – Какая балерина!

– Да это я так...шутейно... Мазурик он. Две ходки к хозяину... В 36-м и после...в 42-м. Человечишка он никакой, дрянь, в общем, а не человек. Всегда щипал по мелочи... Где чего стырит, пьяного оберет, у бабы отнимет, кастетом в драке двинет, ножичком снизу... Сло-

вом, скверный человечиска! А теперь вот залетал, видать, по-крупному. Форму майорскую взял на барахолке..., там ведь хоть генеральскую откопаешь, плати только! Я его, гада, давно знаю... Его батя, братья, да и он сам, тут рядышком жили, напротив фабрики. Все сидели..., и этот, считай, всю войну на нарах парился! У них там, можно сказать, дом родной... А сейчас вот видишь, как! Майор! Планочку нацепил! Они тут всё поделили, чтоб никто больше... У калек последнюю копейку выдирают, а еще несмышленных мальцов, безотцовщин, у кого все в войну полегли, на свои грязные делишки водят... Спекулируют, водкой торгуют, на трофеях паразитируют, падлы! Складских запугали... На прошлой неделе одного зарезали, старика. А месяц назад пожар был на Пятницких складах. Слыхал? Зуб даю, они это! А видал... при орден-нах-медалях, во френчах ...! Верно говорят – кому война, а кому и мать родна.

Яков еще раз, шурясь от густого сизого дыма, внимательного посмотрел на майора, чуть хмельного, в компании еще двух нетрезвых личностей, род занятий которых, по их внешнему виду и повадкам, не вызвал у него ни малейших сомнений. Общались они с майором, однако же, на равных. Майор встретился взглядом с Яковым и ослабил наглое усмешкой. Это Якова более всего задело – как будто ему в лицо плюнули.

Он медленно поднялся и, пьяно раскачиваясь, подошел к майорскому столику, мрачно застыл над ним. Яков был некрупным мужчиной, но лагерный опыт, а потом и фронтовой, научили его держать себя так, что многие очень быстро остывали, бросив всего лишь взгляд на него. Но не все и далеко не всегда вовремя понимали, что этот обычно улыбчивый человек, способен на самые отчаянные и, порой, необыкновенно жестокие действия. Выгоревшая солдатская форма со срезанными погонами, истоптанные кирзовые сапоги, потрескавшийся кожаный ремень, что было в эти годы всегда надето на Якове, ничем не отличало его от тысяч и тысяч таких же демобилизованных солдат. Один из сидящих с косым шрамом через низкий лоб, ощерился и спросил развязно:

– Чего надо, служивый! Налить?

Яков мазнул по его бледному, испитому уже, лицу ненавидящим взглядом и буркнул:

– Умри, сявка!

– Чего! – парень попытался приподняться, соорив еще более хищную и решительную гримасу на и без того нахальной роже, но майор резко ударил его ногой под столом и тот, болезненно сморщившись, плюхнулся обратно на табуретку.

– Есть вопросы, солдатик? – неожиданно трезво спросил майор и глаза его сверкнули свинцовой властью.

Яков чуть опешил, подумав, что такая зрелая, уверенная твердость возможна, казалось бы, лишь у фронтовиков, и тот, местный, за его столом, инвалид мирного времени, либо ошибся, либо намеренно наврал. Он быстро обернулся и увидел, что за его столиком уже сидит только-только ввалившаяся компания небритых мужчин в поношенных, рваных телогрейках. Инвалид же исчез.

Яков опять уставился на майора:

– Младший сержант, а не солдатик..., товарищ майор.

– Ну, извини, браток! – майор холодно усмехнулся, – Так какие у тебя претензии, земля?

– Никак нет, нет претензий, товарищ майор. Спросить хотел...

– Спрашивай.

– Лицо у вас... как бы..., вроде, виделись мы... Вы на каких фронтах воевали?

– Любознательный? – майор смотрел уже совсем не так, как в начале. В его взгляде была уже совершенно не та твердость. Теперь было что-то чужое, вязкое, неприятно покрывающее гранитную жесткость его властного характера.

– Ага! Мы такие...

– Местный?

– Мы все тут местные, советские...

– Смелый, значит? – майор сокрушенно покачал головой, поджимая губы, – Интересно, выходит? Ну, так отвечу, в виде исключения. На танковых фронтах я воевал..., горел трижды..., а как фронты называются, запомнил. Доволен, служивый?

Ответ Соловейчику не понравился – и гордость в нем есть, и обида как будто фронтовика, а в то же время есть и что-то вымученное, лживое, не такое, что услышишь от того, кто действительно горел в танке. Трижды горел! До майора дослужился, а тут на вопрос нетрезвого солдата, незнакомого, чужого, не в морду двинул из-за справедливой обиды за недоверие, а стал объясняться. Да еще компания это его трактирная – разболтанный паренек с жиганскими замашками и второй, которого Павел тоже успел быстро рассмотреть – немолодой, темнолицый, кряжистый, с золотой фиксой в злобной пасти, с маленькими, внимательными серыми глазенками.

Яков мрачно буркнул что-то и, по-военному развернувшись на каблуках, вышел из пивной.

Он отошел к трамвайным путям, укрылся под деревом, за его кривым стволом, и стал наблюдать за выходом. Почти сразу из пивной торопливо выскочил паренек со шрамом, а за ним, точно медведь, тяжело косолапя, выбрался мужчина с золотой фиксой. Они перебросились друг с другом несколькими короткими фразами и тут же разошлись в разные стороны. Минуты через три из пивной неспеша вышел майор в щеголеватом френче и в аккуратной новенькой фуражке. Он покопался в нагрудном кармане, выудил оттуда папиросину, постучал ею о кулак и, ловко замяв мундштук, сунул в угол рта, пожевал ее и чуть согнул языком или зубами вверх. Это у него получилось развязно и в то же время по-воровски лихо. Откуда-то вновь показался тот же паренек со шрамом, у него в руках вспыхнула спичка. Майор неторопливо прикурил. Парень махнул куда-то в сторону рукой и сказал что-то. Майор оскалился той же кривой усмешкой, как в пивной, глядя тогда в лицо Якову, и умиротворенно кивнул. Парень быстро засеменял метушей походкой в сторону Ордынки.

Соловейчик догадался, что паренька выставили вперед, чтобы он присмотрелся, нет ли лишних на улице, а, может быть, и его, Якова. Тот понаблюдал и доложил майору, что все, мол, чисто тут, можно идти.

Майор, не вынимая изо рта дымящей папиросины, зашагал в сторону набережной мимо вросших в землю деревянных домов с покосившимся штакетником. Он несколько раз огрызнулся за спину цепким, холодным взглядом.

Быстро темнело, и Яков подумал, что сейчас майор исчезнет в какой-нибудь подворотне и, возможно, им больше никогда не встретиться.

Яков быстро нагнал его у единственного в переулке каменного дома с серо-желтой влажной стеной, грубо схватил за шею и втолкнул в жерло ближайшего подъезда. Майор ойкнул, попытался вырваться, но получив тяжелый удар в печень, тут же замер. Однако же он успел скользнуть рукой в карман бриджей. Яков еще идя за ним, внимательно оглядел одежду и теперь был уверен, что пистолет или револьвер могли быть у того только за поясом спереди, а в кармане брюк, кроме ножа, ничего спрятать было нельзя.

– Не балуй, майор! – грозно прорычал Яков ему прямо в ухо, – А то так шваркну, что забудешь, как звали. Понял?

Майор медленно вытянул руку:

– Чего тебе надо?

– Так ты на каких фронтах горел, майор?

– А почему ты мне тыкаешь, солдат?

– А потому, майор, что нигде ты не горел и не воевал! Шпана ты, жиган и сволочь!

– У меня на груди планочки..., боевые ордена, между прочим, солдат! – попытался было обидеться майор.

– Это ты себе в свою холеную задницу засунь, гад! – спокойно ответил Яков и плотно прижал майора к двери подъезда, – Ты кто?

Майор отвел взгляд в сторону и тяжело выдохнул:

– Ладно, ладно... Отпусти! Ну, чего как девку жмешь!

– Как только не совестно! Тебя тут всякая собака знает, а ты ходишь в геройской форме, с чужими орденами... Люди за это жизни положили!

– А мы чего? Не жили, выходит? Да у нас год за пять, как на фронте, браток! У нас, можно сказать, свои танки горели! Имеем право! У каждого свой фронт... Хочешь, и тебе в нашем блиндаже хлебное местечко подыщем?

– Сука! – взревел Яков и наотмашь ударил майора в лицо.

Брызнула кровь, тот попытался еще раз сунуть руку в карман, но Яков схватил его за грудки и из-за всех сил шмякнул о тяжелую дверь.

Яков быстро шел обратно, в сторону Лаврушинского переулка, не оглядываясь, а на земле около подъезда лежал, тяжело дыша, заливаясь кровью, «майор». С груди его шеголеватого френча с мясом были сорваны орденские планки, с плеч – погоны, фуражка растоптана, козырек ее переломлен. Складной американский нож и вороненый «Браунинг», который «майор» действительно держал за поясным ремнем, Соловейчик забросил за забор по пути, брезгуя брать это себе. Все же не война, не военный трофей, а обыкновенная уголовная добыча!

Все бы так и забылось, но оказалось, что у липового того майора были дружки повсюду. Оправившись, он выяснил, где работал Яков, и попросил одного из местных милиционеров пугнуть его. Якова задержали на проходной через неделю после драки. Стали проверять, кто и откуда, и выяснили, что в сорок первом он командиров той подмосковной части ввел в заблуждение, не сообщив им о прежней судимости, да еще о такой, как его – 58-10. Разоблаченного врага передали в руки следователей госбезопасности, и уже к началу лета он получил новую статью и новый срок. Скромного воинского звания и всех наград его лишили. Не было больше такого фронтовика. В его памяти остались только его собственные счастливые улыбки в освобожденных городах.

Вот так сходил в пивную Яков Соловейчик. Тут уже было не до улыбок. Соловьевых не тронули из-за того, что фамилии их совпадали весьма относительно. Яков же на допросах сообщал, что родственников не имеет, а живет как квартирант у случайных знакомых. Верили, не верили ему, кто знает! Но смирились.

Исаак Львович очень гордился этим поступком дядьки, считая, что тот приумножил им свои великие фронтовые подвиги. Именно так он и говорил Андрею.

– Сила, Андрюша не в том, чтобы оторвать от земли тяжелую ношу, а в том, чтобы пронести ее через всю жизнь, если это нужно. И не ойкнуть ни разу! И не пожалеть! Никогда! И никого не предать, и с собой в ту дорогу не позвать.

До 1985-го года Яков Соловейчик семью Соловьевых не беспокоил, видимо, считая, что тот груз, о котором говорил впоследствии сыну Исаак Львович, он должен пронести до самого конца сам. Мало ли, как скажется на судьбе семьи такое родство и в более поздние времена! Ни времена, ни люди принципиально не меняются, считал он. Но вот болезни и подступившая старость вынудили его приехать. Потому и стеснялся, и виновато улыбался своей детской улыбкой.

Исаак Львович через свои знакомства в Академии наук нашел для Якова Соловейчика довольно приличный поначалу дом Ветерана (он даже сумел восстановить его фронтовые документы и хотя бы упоминание о наградах). Однако с крушением страны положение таких домов заметно ухудшилось, ни снабжения, ни медицинской поддержки там уже почти не было. Всё развалилось. Исаак Львович раз в две недели возил дядьке какие-то продукты, иногда одежду. Прожил Соловейчик там в полном одиночестве до девяноста седьмого года. Ни разу не пожа-

ловался, ни разу ни о чем не пожалел. Говорят, и умер с улыбкой на старом уже, изможденном лице.

У Исаака Львовича и его жены Ирины Владимировны было шестеро детей. Шестым, поздним, был Андрей. И самым очаровательным, и самым любимым, и самым талантливым из всех далеко небестальных детей Исаака и Ирины Соловьевых. На взрослые темы он начал рассуждать, порой, вполне зрело, уже лет в пять.

Отец, довольный, усмехался, а мать, напротив, хмурилась, предчувствуя недоброе в будущем младшего сына.

Мальчику в школе удавалось всё – от математики, химии и физики до литературы и иностранных языков. Светлая, добрая головка, честный, открытый взгляд, стройный юный торс, лучезарная улыбка, искренняя порывистость. Обожал баскетбол, шахматы и настольный теннис.

Но жило в нем нечто, настораживавшее, однако, и отца. Андрей был увлекающейся натурой до такой опасной степени, что всякое очередное его увлечение имело не только способность вытолкнуть все предыдущие, но даже и сполна заменить собою их, охватить его полностью и на определенное время буквально стереть все тончайшие нюансы личности, почти обескровить характер. Со временем он отдумывался, сам же пугаясь этого, но тогда и то увлечение, которое его заворозило, вдруг становилось для него ненавистным, а бывало, что и открыто нетерпимым. Плюс резко менялся на минус. Это касалось и людей, новых и даже старых знакомых. Вокруг Андрея очень рано вследствие всего этого образовался круг недоброжелателей.

Отец втайне опасался, что младший сын так слепо увлекается чем или кем-либо, потому что внутренне неустойчив. Не пуст, не глуп, а именно неустойчив, без стального стержня в характере, столь свойственного всему их роду. Это ведь противоречило и жесткому характеру отца.

Исаак Львович был назло советской власти верующим, православным. При крещении он избрал христианское имя Илья, которое с гордостью произносил в тех случаях, когда его утомленно и чуть нервно допрашивали в райотделе КГБ (ни разу не выше этого низового подразделения советской политической полиции) за какое-нибудь особенно вредное высказывание в обществе, за подпись под протестным письмом или за горячее интервью откровенно «вражеской» радиостанции. Но всерьез не трогали. Не судили, не сажали. Это его злило. Он как будто настаивал на расправе. Но кто-то пронзительно изощренный в КГБ это, видимо, понял и с садистским наслаждением доставлял ему неприятности в виде ироничного пренебрежения к его антисоветской деятельности. Один раз его показывали врачам, но те ничего опасного не диагностировали. Это его тоже рассердило.

Он писал философские письма академику Сахарову, который когда-то, очень и очень давно, был его научным оппонентом по одной из важных водородных тем, переписывался с Солженицыным, горячо оспаривая те или иные его взгляды на историю России, и составлял пространные рецензии на его произведения. Иногда даже получал невесть каким образом ответы, которыми страшно дорожил. Подшивал их и прятал на чердаке дома на Ленинском проспекте, в котором и жила семья. Но и это не сдвинуло его политического дела в КГБ с мертвой точки. Письма, правда, однажды безвозвратно пропали.

Когда, будучи еще подростком, Андрей спросил отца, зачем тот работает на ядерную безопасность страны и с этой же страной в ссоре, тот вдруг растерялся, хлестко хлопнул себя по лбу и просветлел. «Устами младенца...!» – воскликнул он. На следующий день Исаак Львович подал заявление об увольнении из научного института. Так и написал – в связи с невозможностью сочетать ненависть и любовь. Его опять показали врачам. И вновь они лишь отмахнулись.

Трудно сказать, чем бы кончилось то упрямое противостояние – демонстративное всепрощенчество властей и несгибаемый антибольшевизм Исаака Львовича – возможно даже его победой, то есть, по крайней мере, психиатрической лечебницей или даже достойной сибирской, либо хотя бы казахстанской ссылкой, но тут рухнул сам большевизм. Вот этого большевикам Исаак Львович уже никак не мог простить. Что же это такое! Их тонкая шахматная партия была в самом разгаре, а та сторона вдруг возьми да объяви себя сдавшейся. И когда! Ему оставались последняя рокировка и решительный ход самой перспективной пешкой.

Он уже почти собрал избобличавшие лицемерие большевиков подлинные документы и намеривался не только передать их в руки корреспондента радио «Свобода», но и записать на магнитную пленку свои подробные комментарии. В документах были указаны не только тайные сделки КПСС с террористическими режимами по всему миру, но и имена тех, кто подписывал сии соглашения, переводил и перевозил деньги, создавал подставные фирмы за рубежом, открывал расчетные счета в известных и неизвестных банках, сопровождал финансовые, материальные и пропагандистские ресурсы поддержки режимов от отправителя через иностранных посредников к получателю. К этим историческим и правовым материалам, доктор физико-математических наук, в прошлом профессор университета, Исаак Соловьев подошел с проверенной методологической, доказательной скрупулезностью и с научной точностью, как если бы собирал материалы по своей прямой специальности. Материалы могли вызвать грандиозный скандал, и даже не столько в СССР, в котором это и так многие знали или хотя бы догадывались об этом, но и в мире. Собственно, и там это было известно в общих чертах, но конкретных имен, названий фирм, компаний, банков, газет, журналов, адресов недвижимости, наименований акций и, главное, тончайших подробностей сделок до него никто еще не собирал и, конечно же, доказательств не предоставлял.

Но тут его многомерный и многолетний тайный труд очутился в самом хвосте отлетевшей в небытие эпохи, и он, ученый и упрямец, мог бы рассчитывать теперь лишь на внимание скромных историков, а не ведущих политиков и заметных журналистов. Сама партия вдруг заявила о своих «ошибках», таким образом именуя преступления, и созналась в большинстве того, что отставной профессор Соловьев собирал с риском для себя и семьи все последние годы. Партия не раскаивалась, а всего лишь винилась в меру своих возможностей. Многие исполнители тех акций вдруг кинулись писать мемуары, давать интервью, разоблачать и себя, и товарищей, и всю партию разом. Многие же получили в награду за свою своевременную смелость новые должности, новые назначения, и даже с необыкновенной скоростью сделали куда более впечатляющие карьеры, чем если бы ничего не изменилось, и они продолжали бы выкачивать из страны деньги, обмазывать ими, как маслом, скрипучие телеги так называемых национально-освободительных движений в Латинской Америке, в Африке, в Азии и родственные режимы в Восточной и Центральной Европе. Всё рухнуло в одночасье. Царь зверей, лохматый и зловонный старый лев, лежал, поверженный, на высохшей, треснувшей корке собственной земли, им же и загаженной.

Исаак Соловьев, личность в высшей степени достойная, не привык пинать не только умершего, но даже и просто поверженного льва. Он всю жизнь был тем героем, который всегда готов заступить дорогу лишь живому и сильному хищнику, противопоставив его ярости свою.

Однако та же жизнь все перевернула. Годами собираемые и каталогизируемые документы безжалостно были скручены в рулоны и отправлены на антресоли квартиры, в которой жила семья Соловьева, а герой вновь ступил на тропу войны, столь же твердо и мужественно, как бывало и раньше.

Приоритеты, однако, сменились.

Исаак Львович немедленно вступил в коммунистическую партию, когда она уже рассыпалась как пересохший песочный замок. Он вновь вошел в противоречие с властной системой, ставшей теперь антикоммунистической. Хотел было восстановиться в научном институте, но

тот распадался с еще большей скоростью, чем даже компартия. Исаак Львович стал стремительно стареть под печальными взглядами родных и близких.

С привыкшей ко всему женой Ириной Владимировной, называвшей Исаака Львовича «нелепым человеком», уже много лет подряд он общался лишь за столом, детей целовал в чело перед сном и подгонял по утрам перед занятиями, и лишь с младшеньким вундеркиндом Андрюшей был близок и искренен.

В начале девяностых ему вдруг пришло письмо из Массачусетского университета с приглашением на прочтение серии лекций по ядерной тематике прошлых лет. Исаак Львович написал ответ, что принципиально не желает общаться с противником, потому что тот бесчестно выиграл холодную войну, испугавшись проиграть горячую. Написал это на безукоризненном английском языке, который знал еще со студенчества. Специально его изучал и в научных, и в политических целях. Подписался – Илья Соловьев, коммунист.

Он вычеркнул в своем паспорте имя, данное ему родителями, и сверху черными чернилами нашкрябал – Илья. Затем пошел в храм, расположенный неподалеку от их дома на Ленинском проспекте, и нанялся туда сторожем.

Вот такой был у Андрея Соловьева ученый отец. Многие знакомые и соседи считали его более чем странным, своего рода, городским сумасшедшим, но Андрей знал, что отец талантливый ученый, образованный и начитанный, с непоколебимыми нравственными установками и, главное, в душе нежный и добрый человек. Более всего он ненавидел насилие над личностью и готов был идти за свои взгляды на смертный бой. Беда была лишь в том, что никто не желал выйти с ним на этот бой в открытом поле, и это воспринималось Исааком Львовичем как одна из самых опасных и циничных форм того же самого насилия над личностью, потому что оборотной стороной его он считал державное, высокомерное пренебрежение достоинством человека.

Андрей знал, что отец никакой не коммунист, не демократ, не либерал, даже не антикоммунист, а просто упрямый, убежденный сторонник свободы, близкой к анархической, к бакунинской идее. Он любил отца и абсолютно все ему прощал.

Самым трагичным днем своей жизни он считал день смерти Исаака Львовича. Что бы ни произошло с ним в дальнейшем, большего несчастья, полагал он, с ним уже не приключится. От этого мысли о жизни и об ее опасностях как будто окрашивались в нейтральные тона, и ему даже смерть, которая когда-нибудь наступит и его, не казалась такой уж страшной.

Отец погиб холодным февральским вечером под колесами грузовой машины, на которой привезли в маленький армянский магазинчик, открывшийся в соседнем с ними доме, овощи. Исаак Львович возвращался из своего храма и увидел, как растревоженный провинциальный водитель пытается захватить крытым кузовом в узкую щель между двумя черными лаковыми автомобилями, чтобы подобраться к подвалу на разгрузку. Отец стал суетливо размахивать руками, энергично руководя шофером, забрался назад, за кузов и, убедившись, что грузовик вполне пройдет между машинами, крикнул свое последнее слово – «Давай!». И шофер дал. Отец поскользнулся на льду и влетел прямо под двойные задние колеса головой вперед. Грузовик остановился, лишь переехав его.

Андрей как-то сидел у могилы отца и вспоминал последний с ним разговор, который состоялся вскоре после последнего в жизни Исаака Львовича Рождества Христова. Этот разговор и стал потом его главной лоцией в жизни.

В тот поздний вечер отец, кряхтя и ворча, подмел в храме полы, погасил свечи, оставив лишь светиться лампадку у иконы Николая Чудотворца, и присел на лавочку у свода стены. Наряду с обязанностями сторожа он добровольно возложил на себя и этот тяжелый труд – убирать храм после его закрытия. Делал он это также сосредоточенно, как и все в своей жизни. Андрей помогал ему: выносил мусор, протирал пыль, складывал в ящик обгоревшие свечи.

Кроме них, в храме в тот вечер никого уже не было. Отец оставался сторожить, а Андрей засобирался домой.

За время работы тут отца он осознал себя верующим человеком и принял крещение. Раз отец здесь, значит, Бог есть. Иначе бы только и видели в храме этого вечного мятежника!

Уже много позже Андрей упрекал себя в такой инфантильной доверчивости. Разве можно, говорил он себе, веровать во что-то великое, всепоглощающее, что единственное должно вести тебя по жизни до самой могилы, и при этом оглядываться на другого человека, пусть и любимого, и близкого, но все же обыкновенного смертного, способного заблуждаться, как всякий смертный, и даже, как и всякий смертный, кривить душой по одной ему ведомой причине? Иди, не оглядываясь; иди, не доверяя ничему, что не близко твоей вере, уж не говоря о том, что ей противоречит. Иначе ты сам от нее отдалишься и сам же станешь в конце концов ее антагонистом. Не заметишь, как станешь, и будешь от страха или тоски лишь отправлять ее внешние обряды, думая, что верность церковным традициям, если уж не заменяет самой веры, то, во всяком случае, делает внутреннее отступничество простительным. Мол, это как преходящая болезнь, которую не надо лечить, она сама минует, уйдет так же, как пришла.

К вере, однако, рассуждал Андрей, ни страх, ни тоска привести не могут. И даже любовь не имеет такой силы! Ни к отцу, ни к матери, ни к братьям и сестрам, ни к женщине, ни к детям. Вера, полагал он, это не тот величайший труд познания мира, чем заняты светские науки, а искреннее, безжалостное проникновение в себя: есть ли там место сомнению, есть ли там духовные силы, есть ли там убежденность в том единственном, что не только не требует доказательств, но даже и не ищет их. Вера – это особый талант отчуждения от всего лукавого, расчетливого. Она спускается сверху, отражается от души и вновь поднимается ввысь, уже сама будучи душой. Иными словами, захватив ее, душу, и очистив от всякой скверны мира. Он думал так.

В себе же самом он многого, о чем размышлял, потом уже так и не увидел. Но сейчас, в ночном храме, рядом с усталым отцом, его путь познания только-только начинался, хотя он, как это свойственно молодым людям, считал, что прожил уже достаточно, чтобы утвердиться в главном, и чтобы не стать жертвой пустых сомнений.

Они долго утомленно, почти сонно, сидели, глядя на лампадку, огонек которой не освещал ничего, кроме самого себя.

– Папа, а ты верующий? Вот ведь недавно коммунистом стал... – спросил вдруг в гулкой тишине Андрей и даже вздрогнул от собственного голоса.

Исаак Львович сначала не отвечал, словно, вслушивался в себя. Потом тихо и твердо молвил:

– Верующий.

Он еще немного помолчал и вдруг продолжил:

– В расщепление ядра и в деление клетки я верующий.

Андрей изумленно посмотрел на него из мрака.

– А как же...? – только и сумел он растерянно прошептать.

– А вот так, Андрюша! Иногда слишком энергичное расщепление ядра мешает тихо делиться клетке. Человек должен найти баланс между одним и другим. Я и пытаюсь быть таким человеком.

Все, что в дальнейшем происходило с Андреем Соловьевым, принявшим на некоторое время литературный псевдоним – Антон Спиноза, могло бы стать его личной иллюстрацией столь странной веры покойного отца.

Андрей сразу по окончании средней школы поступил в московский университет на факультет журналистики. Сначала, правда, перед самыми экзаменами, ему вернули документы под каким-то надуманным предлогом. Он два дня скрывал это от домашних, но выдал за

обедом старший брат. Отец сверкнул черными своими глазами, вскочил со стола, схватил с вешалки в прихожей шляпу и ринулся в приемную комиссию. На следующий день оттуда позвонили к Соловьевым и буквально потребовали вновь принести документы. Что там говорил отец, так и осталось загадкой. Он лишь угрюмо отмалчивался.

Абитуриентские экзамены, блестяще подготовленный, да и вообще от природы талантливый Андрей сдал блестяще. На первом курсе он взялся за реферат о Бенедикте, он же Барух, Спинозе. Ему нравилась непреклонность голландского еврея в его убежденности о приоритетности познания, а не религиозной догматики, восхищала его твердость перед теологами и, прежде всего, перед их непоколебимой поддержкой в консервативной, самой влиятельной и самой мстительной, части голландского общества. Бесправные, безграмотные, нищие толпы слепо поклонялись состоятельным консерваторам, видя в том спасение от того, что казалось им ересью, потому что требовало размышлений и, главное, предлагало выбор, который сделать куда сложнее, чем безотчетно следовать правилам, утверждаемым веками фарисействующими догматиками Церкви. Однако же дерзкий Спиноза настаивал на своем. Разум и только разум!

Этические начала свободы, теория независимости личности – все это заворожило Андрея. Он будто проверял главный постулат необычной веры отца: человек не вправе разрушать жизнь, дарованную самой природой, используя ее же, ту же природу, но жестоко освоенную им.

Учеба в университете проходила как-то очень буднично, даже, порой, рутинно. В жизни Андрея давно уже присутствовали, как ему казалось, куда более важные дела. Он начал писать, не особенно заботясь о чистоте жанра, а думая лишь о том, что этические начала свободы, воспетые средневековым смельчаком Спинозой, зиждутся на бесстрашии мышления и поступков.

Первая же его повесть, изданная в толстом литературном журнале, в том же, в котором печатался и Даниил Любавин, получила крупный и очень престижный приз. Антона Спинозу заметили.

Рецензентом повести был писатель Ким Приматов.

Стратегия

Это было даже не столько повестью, сколько изящной литературной вариацией репортажа со среднеазиатских революционных событий, в центре которых оказался молодой московский репортер, правдами и неправдами попавший в ту, когда-то казавшуюся спокойной и добродушной, бывшую советскую республику.

Зарисовка получилась блестящая. Текст сопровождался живописными и, порой, самодостаточными фотографиями, сделанными пусть и не слишком опытной фотографической рукой Андрея, но явно исходившими от его трепетной, беспокойной и честной совести. Ему самому казалось, что он заглянул в святая святых среднеазиатской души, которую многие считали рабской, безвольной, оскорбительно зависимой от хозяина-феодала, а, главное, примитивно-средневековой.

Андрей увидел там и подтверждение, и отрицание этого. Он был изумлен и тем и другим. Его страшило невероятное единство жестокой, безжалостной массы, похожей своими инстинктами на громадную стаю хищных зверей, и в то же время до глубины души, почти до слез, поражал вдруг выхваченный из той же монолитной толпы осознанный, отчаянный, острый взгляд из-под опухших от бессонницы, от нечеловеческой боли и неожиданного одиночества души тяжелых азиатских век. Этот взгляд был устремлен на него, резал, точно бритва, буравил, как сверло. Взгляд испытывал его, он и грозил, и вопрошал, потому что в нем в равной степени сквозило и почти детское любопытство, и зрелая убежденность в том, что все в этом мире давным-давно предопределено, но одновременно с этим бушевала и безудержная, демонстративная удаль. Порой, то была жестокая насмешка над непонятливым чужаком, замешанная на презрении равного члена стаи к одинокому путнику, в любой момент могущего стать обыкновенной добычей. Многодневный мятеж толпы, то поднимавшийся на гребень невыносимой жестокости, то устало опускавшийся на самое дно многовекового отчаяния рабства и бесправия.

Это было невыносимо страшно и невероятно завораживающе.

Андрей с поражающей для его возраста и малого опыта тонкостью сумел передать всё это в эмоциональных зарисовках того короткого и рокового очень для многих времени, словно поймал в объектив главные, поворотные мгновения событий. Рушился старый мир, а за его острые края цеплялись изнеженные пальцы старых хозяев и грубые лапы их рабов. Но одни отчаянно желали удержаться, а другие – развалить до основания, не ведая еще, что должно сохраниться для нового мира, а что расщепиться на молекулы.

Как когда-то первый скандальный рассказ самого Кима Приматова, тогда еще подписанного его фамилией – Добренко, повесть Андрея заметили в Кремле. Заметили и пригляделись к автору. Таким внимательным взором обладал становящийся все более влиятельным Стас Товаров, прозванный сначала «византийцем», а затем Джокером.

Он именно тогда утвердился в мысли, что писатель Ким Приматов, вполне удовлетворенный своими успехами на литературной ниве (и не напрасно!), в действительности преследовал иные цели, а именно – осознанная и выношенная им за долгие десятилетия идея высшей социальной справедливости, в которой может не оказаться места ни для каких прочих идей, кроме, пожалуй, националистической. Инструментом Ким Приматов избрал себе не массовое сопротивление, на которое было бы недальновидно рассчитывать, опираясь на пугливую коллаборационистическую почву, преобладавшую в стране, а на меткое попадание в болевые точки современности. Оружие для этого должно быть взято на первых порах не «массового поражения», а исключительно точное, снайперское. Вот для того он и подбирал себе в главную

свою резиденцию таких умниц (а не умников!), как Даниил Любавин и Андрей Соловьев – растущих молодых, явно талантливых литераторов.

Стас Товаров обратил внимание на то, что Ким Приматов начал выстраивать свой генеральный штаб, с самого начала культивируя в нем свою строгую иерархию талантов. Сам он был слишком стар для того, чтобы рассчитывать в дальнейшем на поддержку малообразованного и горячего поколения юных бунтарей в кожаных курточках и в красных банданах на тонких шеях и недалеких головах. Им срочно нужно было готовить других вождей, которые придут не с пустыми руками вчерашних каторжан, а с богатыми портфелями интеллектуальных призов и замеченной властью твердой оппозиционностью. Не в классовости дело, не в войне элит, не в скандальности политиканов, не в распределении продуктов труда даже, а в национальной самоидентификации, в ее приоритете над привычными императивами общественного противостояния.

Не то чтобы Ким Приматов игнорировал классовую теорию марксизма и ленинизма, а просто он полагал, что ее революционное значение отступило, оставив на поверхности лишь красную пыльцу истории. Причем, пыльца эта имела свое золотое свечение, которое в свое время вполне может вспыхнуть новым пламенем.

Он не смешивал теоретической стороны марксизма, считая ее непоколебимой в веках, с практической ленинской; поэтому-то и не ставил дефиса между марксизмом и ленинизмом. Ким не сомневался, что кровавый цвет той исторической взвеси был внесен Лениным, а золотое напыление пришло от теоретика и философа Маркса. Он понимал политэкономия Маркса, как глубокий научный исследовательский труд, а деятельность Ленина, как жесточайший лабораторный опыт, предпринятый им на слишком широком и неподготовленном, с точки зрения определения исторической формации, российском пространстве. Маркс, дескать, изучал капитализм в развитой и компактной Европе, а также на примере быстро обновляющихся производственных и социальных отношений в Северной Америке, а Россия пребывала в отсталых, неподвижных водах абсолютизма, феодализма и почти неотменяемого рабства.

Пролетарскую основу теории, которая, как известно, аргументировалась тем, что этому классу тружеников якобы нечего терять, разве что, кроме своих цепей, он считал безвозвратно утраченной. Изменились средства труда, а вслед за этим и революционное место в общественной протестной среде досталось уже новому классу – «белым воротничкам». Вот на них и следовало теперь опираться. А им-то как раз есть что терять, потому что и цепи у них подчас выкованы из чистого золота. Они даже их ни за что на свете не отдадут. Пусть трут запястья и щиколотки, зато всегда под рукой, всегда имеют свою цену в соответствии с биржевыми индексами.

У тех же, кто пониже рангом, попроще происхождением, беднее образованием, примитивнее амбициями, цвет рабочего воротничка запылен до серого, а цепи – из сусального золота, а то и обыкновенные, стальные. Они заворожено смотрят в рот тем, кто выше их и успешнее, теша себя иллюзией когда-нибудь сменить свой серый воротничок на крахмальный белый. Это и есть великая мечта нищих масс, поддерживаемая всеми пропагандистами мира – от хитроумных западных демократов до прямолинейных остолопов разного рода деспотичных режимов.

Так что от старых классических теорий почти ничего уже не осталось, за исключением научно обоснованных этими же теориями зависти и ненависти большинства к меньшинству. Нет и интернациональной составляющей – ей на смену пришел махровый национализм, всегда готовый скатиться к нацизму.

– Что есть в своей клинической сущности нацизм? – спрашивал Ким Приматов, – а все ведь очень просто! Это обезумевший от старости национализм. Чтобы скрыть свою дряхлость, чтобы встряхнуть ее, он качает мышцы и заливает шары свинцом. Он облачается в новую молодецкую форму и вооружается уже не одними лишь крикливыми лозунгами, а тяжелой

политической идеей и длинными, острыми ножами. Это стоит дорого, но состоятельные доброты всегда находятся. Националисты ни с какой властью не справятся, потому что они способны только на красочные шоу, иной раз, крайне примитивные, ряженые, а нацисты, их составившийся аналог, без власти существовать не могут. Она их единственный источник силы и средств. Однако есть еще и средний возраст: общественная зрелость национализма. Это когда и юношеская запальчивость, и старческий опыт соединяются в одном крепком еще теле и требуют наполнения новой, юной, кровью. Этот момент может быть упущен или заговорен классическими теориями вчерашних мудрецов. Отбросить их и дать крови! Испить ее! Высосать из глотки зазевавшейся власти!

Все это Ким обдумывал, анализировал и терпеливо искал свой собственный путь в старом, холодном космосе истории человечества.

Товаров внимательно наблюдал за Кимом, специальные секретари завели на него секретное досье, в котором отражалось очень многое, что делал Приматов, о чем высказывался, с кем виделся, что именно обсуждал. Там же воспроизводилась и его сложная, путанная биография, копии приговоров судов, подробные ссылки на секретное делопроизводство в отношении него в разные периоды жизни, множество фотографий, видео и аудиозаписей, личная жизнь, доходы, траты, заработки, долги, имена близких и дальних знакомых. Одна из объемных тетрадей, вложенных в это большее многотомное досье, детально отображала философские взгляды Приматова.

Собирали досье два доверенных помощника Товарова, имевшие самое прямое отношение к той тайной службе, в которой он занимал давно уже весьма заметное для посвященных и совершенное невидимое для посторонних положение. Называлось это досье кодовым словом «Старик».

Ким Приматов жаждал власти. Но власти не золотой, не примитивно богатой и глухой, а истинно духовной, которой, как известно, нет цены. Ему нужны были святые мученики, страдавшие не в пыточных *телеми своими*, а выстрадавшие великую народную славу и признательность толпы *делами своими* в широко открытых академических и литературных пространствах. На их грудь должны были давить не тяжелые мучительные кресты веры, а заслуженные литературные награды от признанных авторитетных снобов, всегда готовых договариваться как с властью, так и с ее интеллектуальными противниками. А вот в какой момент тот же Ким Приматов кинет на чашу весов своих молодых генералов тяжеленую гирию национального гнева, решать ему. Но пока необходимо собирать золото мирных побед.

Вот это и стало его дорогой в том космосе русской политики, его открытием, его персональным сокровищем.

Стас Товаров это вдруг все понял так ясно, что, с одной стороны, содрогнулся от неожиданной «свежести» приматовской идеи, которая по существу была никакой не свежей, а почти со всеми подробностями повторяющей упрямую просветительскую методику разночинцев конца позапрошлого века, а с другой – смертельно опасной для слепой и алчной власти, если только она не затянет все это в свое русло и не покатит насыщенные воды в обратную от себя сторону. Как известно, наряду с вполне мирным и, по-своему, даже сентиментально-реформаторским «Черным переделом» выступила непримиримая и жестокая «Народная воля», следом за которой, в свою очередь, очень скоро пришли беспощадные большевики. Доигрались университетские и дворцовые интеллектуалы до общенародного пира, на столы которого были поданы их же собственные неумные головы.

Товаров, находясь под впечатлением накопленного материала, решил действовать.

Он доложил в очень узком административном кругу о том, что недооценка старого скандалиста Кима Приматова лет через пять или шесть может слишком дорого обойтись. Дело

зайдет так далеко, что понадобятся болезненные физические «изъятия» (так он называл политические убийства) из глубокого тыла внутреннего противника, а это непременно разрушит внешний и без того хрупкий имидж государственной власти, даже если ее зарубежные враги ни в коей мере не будут разделять экстремистских взглядов тех, кого власть изуверски стирает из действительности. Там окажутся интеллектуалы высшего порядка, признанные мастера литературного слова, отцы новых светлых, пусть даже и книжных, образов, новые «солженицины», физических мучений которых уже никто власти не простит.

Пришло время и это брать под свой контроль. Нужны потрясающие общество, а, возможно, и современное мироустройство, события, затягивающие в себя всех и вся – не только этих новых умников и умниц, но и ту часть якобы протестного интеллигентского слоя, которая по существу всегда готова на стовор с реальной силой, и тех, на кого рассчитывают нынешние «разночинцы» Кима Приматова, то есть на недалеких и, как правило, не читающих юных мятежников и маргиналов, но, тем не менее, заморожено упивающихся сиянием интеллектуальных наград эпатажных приматовских вождей. Что касается серой массы, то она пойдет туда, куда ее поведут. От нее-то как раз неразрешимых загадок ожидать не следует. Так у нас уже бывало, да ведь и не только у нас.

Помог ему опыт старых ошибок и удач Пятого Главного управления КГБ СССР, в темных недрах которого рождалась, в определенном смысле, концепция внутренней политики страны, той еще, «великой и ужасной». Ее крушению и радовались, как радуются избавлению от долгой, смертельной болезни, но и негодовали, как негодуют об утрате пусть и надоедливого, но все же родного по крови старика, порой, одни и те же влиятельные во все времена люди.

Товаров после несколько нервной нерешительности верховной власти, наконец, получил ожидаемую отмашку к действию. Даже был выделен особый секретный бюджет.

Однако же не так просто было сломить недалекую косность верховной администрации. Для этого понадобился терпеливый просветительский экскурс в тайные операции, как царской охранки, так и нескольких исторических фаз советской идеологической контрразведки. Пришлось покопаться в архивах, настоять на прочтении некоторых неопубликованных документов, аналитических справок, делать более или менее подробные аннотации на те или иные неизвестные широкой публике события. Вылезли имена солидных агентов влияния и провокаторов, которые поразили даже тех, кто сам когда-то, в более поздние времена, вербовал и вел свою собственную далеко непростую агентуру. Вот это и сломило сопротивление. Уж коли тогда, при авторах иезуитских методик манипулирования обществом, допускались столь сложные многоходовые комбинации с затягиванием в них заслуженных и искренне уважаемых, даже всенародно почитаемых людей, то, что сейчас говорить, в век наглых имитаций и грубых фальшивок!

Товаров горячо призывал избегать недооценок российского общественного мнения, в котором всегда превалировало, разумеется, маргинальное начало, но в любой момент мог появиться сильный лидер, возможно, тот же маргинал, однако, целеустремленный и весьма неглупый, который соберет отряды и двинет их «на Кремль», на центральную власть. Разины, Пугачевы, Болотниковы на Руси всегда в чести. Их нетерпеливо ждут, им искренне сострадают, за них кладут жизни, ломают судьбы целых поколений. Им не выиграть генеральных сражений, но потрепать ту же власть, даже разорить ее они в состоянии. Слепота и глухота дорого обходится самоуверенным политикам.

– Потому и прощают политикам тайные связи в их прошлом с уголовными шайками, что те, вроде бы, от тяжелой сохи пришли, из самого народа происходят, и чувство протеста направлено у них на власть имущих. Разбойниками же стали, потому что на Руси любого разбойником назовут, кто не отдает своего, исконного, но забирает хозяйское, – говорил Товаров, стреляя горячими взглядами во внимающие ему лица, – А тех во власти, кто таких умеет стре-

ножить, подчинить себе и, пусть даже с ними поделить уворованное, уважают за бойкость, за хитрость, за предприимчивый ум. В этом видят даже своего рода мужественную справедливость. Быть под плетью такого даже не считается в народе зазорным. Это как на отца роптать. Вот он верный алгоритм защиты от любого разоблачения или даже просто словесного обвинения. И не следует этого опасаться!

Посидели самым узким кругом на большой, строго охраняемой вилле, выпили, как кто-то со смехом выразился, «на ход ноги», и новый мощный импульс ринулся по главным и периферийным (еще неизвестно, что важней!) токам высокого российского напряжения. Кто нам мешает, тот нам и поможет!

Товаров не говорил только одного на тех тайных советах – того, что с Даниилом Любавиным они были хоть и не кровной (во всяком случае, не слишком близкой), но все же родней. Об этом он мог осторожно сообщить или напомнить даже не столько ему, сколько хитроумному стратегу и писателю Киму Приматову. Нужно было передать через чьи-нибудь честные и чистые руки, которые всегда вне подозрений. А уж старый лис Приматов сам знает, что с этим делать. Умолчит, спрячет до поры до времени, так можно будет это подсказать и самому родственничку – Даниилу Любавину. А уж тот как посмотрит! Рассердится, скорее всего, и затеет внутреннюю бучу в их слаженной интеллектуальной стае. Ему, к тому времени заслужившему уже два больших литературных приза и переиздававшемуся и в России, и в Европе, это уже было вполне по плечу. Вот и укоротится путь в политический зоопарк этих непримиримых скандалов под управлением Кима Приматова.

Но Ким непременно разгадает эту не слишком хитрую интригу, и из двух зол выберет наименьшее.

Вот тогда-то и получил Андрей Соловьев, он же Антон Спиноза, новый звучный приз и денежную премию за свою несколько преждевременную автобиографическую прозу. Награду сначала не давали, по-стариковски мудро решив, что мальчик рановато взялся за мемуары, однако одного из мудрецов, еще с далеких советских времен игравшего роль скрепляющего с властью звена, настоятельно попросили отступить от стариковского занудства и дать премию. Даже под каким-то надуманным предлогом добавили средств. Мудрец передал просьбу в надменный литературный ареопаг и дело обтяпали, правда, с подобающими случаю кислыми усмешками. Задачу облегчало то, что написаны Антоном Спинозой его скороспелые мемуары были все же талантливо. Там и ученый батюшка его упоминался, и даже последний с ним разговор в ночном храме, незадолго до смерти, о трудном балансе между расщеплением ядра и делением клетки.

Дальше уже было дело тонкой техники интриги. Уничтожающий все живое электрический импульс поступает в бомбу по хорошо проводящим ток проводам. Эти провода и в детских игрушках используют, и в быту, и в освещении жилищ, храмов, больниц. Они служат верно и честно. Без них никак нельзя. В конце цепи может быть необходимая для жизни обыкновенная мирная лампочка, а может быть и детонатор.

Всего-то и нужно было, чтобы на трогательном вручении награды простодушному Антону Спинозе встретился не сановный Джокер, а один исключительно вкрадчивый человек из ближайшего окружения «умнейшего, между прочим, и сдержанного либерала» Станислава Игоревича Товарова, и доверительно бы пошептался с искренним молодым писателем.

Так оно и вышло. По мирным и чистым проводам метнулась пикантная информация, предназначенная Киму Приматову. Подумал ли тогда Андрей Соловьев о том, что она, возможно, унимает опасную энергию ядра во имя жизнестойкости клетки, неизвестно, но то, что, передавая ее Приматову, он никому не желал причинить вреда, совершенно очевидно. Хотя бы потому, что Соловьев не был склонен к интриге, не только не испытывая к этому потребностей, но и не имел для такого особого труда природных сил и, разумеется, не обладал соответствующим опытом. Не так он был воспитан и не для того научен драматичной жизнью отца.

Он доложил о разговоре Приматову, а потом, подумав, что нехорошо говорить о ком-нибудь за глаза, повторил то, что услышал, и Даниилу.

Приматов, зная честный характер и добрую волю Соловьева, и сам догадался, что тот не станет тайком доносить и поспешил к Любавину.

Тонкий выбор передаточного звена, а именно – Андрея Соловьева, сводил риск для опытейшего политического интригана Товарова к минимуму, что, к тому же, заранее позволило ему с высокой вероятностью запланировать дальнейшие действия. Станислав Игоревич и сам о себе с удовольствием подумал, что «школа и есть школа», особенно, если ты в ней не самый последний ученик.

– Ай, да Пушкин, ай да сукин сын! – с усмешкой прошептал он сам себе, когда интрига состоялась, – Да что там Пушкин! Он и без интриг был славен. Тут самого Шекспира дух!

«На ход ноги»

В этой весьма «внутренней истории» содержалось нечто настолько особенное для того же исключительно «внутреннего» потребления, что немедленно составило строжайшую государственную тайну. В ее детали были посвящены очень немногие, хотя внешние приметы события видны были всем в той или иной степени заинтересованным сторонам, а у самых сметливых из немногочисленной когорты приближенных к высшей власти даже вызвали вполне объяснимые ревностные чувства.

Дело было даже не в том, что Товаров, организатор секретного проекта и его незаменимый контролер, получил гарантированный новыми обстоятельствами личный доступ к главному человеку огромной державы, но и в том, что для осуществления всего плана был выделен гигантский бюджет из самых тайных хранилищ верховной власти. Средства, регулярно поступавшие в эти хранилища, никогда не включались в главный бюджет страны. За них никто и ни перед кем не отчитывался, собирали их не по крупичкам, а огромными массами выкачивали из тех, кто желал заручиться собственной поддержкой президента в своих, порой, как поговаривали, «мутных» делах, в фантастически прибыльных проектах, выходящих за рамки дозволенного, а, значит, законного. Те, кто платили, отчетливо понимали, что их новорожденные гигантские состояния гарантированы ровно настолько, насколько долго сумеет удержаться именно эта власть, и до тех пор, пока будет сохраняться ее кадровая и политическая структура. Имело ли смысл знать все подробности ее интриг, если интересен лишь результат? Именно так существовали политические режимы во все времена, были ли они сугубо тираническими или всё же содержали в себе внешние гуманные признаки некой демократичности. Потому и платили, потому и не роптали; тех же, кто задавался неуместными вопросами либо позволял себе открыто делать выводы, или даже подавать примеры личной независимости, преследовали, разоряли, изгоняли за пределы страны, а нередко и уничтожали физически.

Специальная операция, а по существу, хитроумная политическая интрига Товарова требовала средств постоянно. Взращивание, казалось бы, конкурентной для власти среды, а в действительности, ее скрытой опоры, вызывающей у любой неконтролируемой оппозиции раздражение, и притягивающей к себе огромные социальные силы, включая скучающих маргиналов и бунтарей, требовало очень дорогостоящей пропаганды. Конкурентная среда, пусть и искусственная, в какой-то момент может оттянуть на себя симпатии потерявшего доверие к власти населения, а, значит, усилия по перманентному очищению образа президента от всякой скверны должны быть многократно умножены. И это не просто завораживающие мантры, произносимые в МЕДИА-пространстве с обязательной регулярностью, но и масштабные действия, акции, включающие в себя и принятие новых законов, пусть и бессмысленных, и державная суета, имитирующая их исполнение, и возбуждение громких уголовных дел, и проведение дорогостоящих, скандальных судебных процессов, как и демонстративных ссор с надуманным или реальным противником, и новые правительственные отставки, и странные назначения, и организация параллельных массовых движений (в первую очередь, молодежных, и якобы патриотических) со всеми вытекающими из этого колоссальными затратами, и содержание фантастически дорогого, подавляющего все вокруг, политического лобби в парламенте с имитацией оппозиционного противостояния, и создание «общественных наростов» вроде всякого рода заседательных палат, суетливых «фронтов», да и прочее, прочее, прочее.

Президент должен быть надежно защищен от любого поворота событий, даже если популярность взращенной в его же тайной лаборатории «враждебной» среды вдруг чрезмерно возрастет. Он обязан всегда уверенно держаться на самой вершине, не отступая ни на шаг, и даже не роняя крупниц почвы из-под своих ступней вниз. Ведь с малой песчинки может случиться

катастрофический обвал. Потому защита должна распространяться на всё, что удерживает основной вес.

Все направления находились под неусыпным контролем всего одного человека – Стаса Товарова. Но ведь кто знает, к чему он вдруг может склониться в роковой момент?!

Именно поэтому и был выделен еще один тайный бюджет на очередную мощную имиджевую кампанию в пользу президента, а контроль над этими громадными средствами поручили уже другому человеку из старого окружения президента, когда-то служившему в аналитическом управлении советской политической разведки. То был малоизвестный в народе генерал-полковник Петр Николаевич Смирнов, человек сухой, серый, прямолинейный, а потому совершенно непреклонный в достижении поставленных целей. Товаров увидел в нем своего личного конкурента, неспособного к какому-либо примиряющему договору. И все же Джокер настоял на том, что главные средства останутся под его контролем.

Он был убежден, что такие массы денег, направляемые в сумбурное пространство государственной пропаганды, способны разогреть воображение даже столь крепкого орешка как генерал Смирнов, не искусенного достаточным опытом в щедрой на житейские удовольствия пропагандистской синекуре. Поэтому Джокер решил стреножить конкурента, определив ему безопасное для себя место.

С самого начала Товаров настаивал на том, что в России не существует достаточно мощной компании, могущей осуществить эффективный удар по разобщенному и ленивому общественному мнению.

– Мы слишком обширные, разномастные, маргинальные, безразличные и малообразованные существа, чтобы одинаково принять то, что нам всем повесят на уши! – сказал он на одной из личных встреч с президентом, стараясь убедить того в том, что все должно координироваться из единого центра, – Большевики, в свое время, приучили нас к неверию, к внутренней закрытости мышления, ко лжи и к духовной слепоте. Даже их чудовищная жестокость увязла в зыбучих песках ленивого русского бытия, или... в гигантском болоте, коли этот образ ближе пониманию того, что есть мы. Если это сейчас пробить..., пусть и не сразу, а спустя хотя бы десятилетия, ...то может случиться обратный эффект: джин, выпущенный нами из узкого горлышка бутылки, нас же и поглотит, а обратно его загнать также невозможно, как пасту в тубик. Все, кто раньше пытались проделать нечто подобное в России, потерпели фиаско. А как еще объяснить наши нынешние потери в идейной бойне с теми же американцами и за долгий период «холодной войны» и, главное, в том, что последовало за ней?

Он ожидал реакции президента, но тот молчал, глядя на него немигающими, стального цвета, глазами, и тогда Товаров продолжил:

– Потери – это еще мягко сказано... Фиаско? И это недостаточно верное определение. Обгадились! Вот уж это точно, хоть и звучит не литературно..., не научно звучит. Подумать только – какой мощный идеологический, пропагандистский аппарат создали, какой силы свисток выдували из ржавых своих труб, а как лихо провалились разжиревшим телом в родную выгребную яму! Ну, хорошо..., в то самое болото недоверия и бессмысленной, а потому и бессилой, жестокости. Разве мы теперь этого же хотим? Нужен рывок! Ведь я сделаю все возможное для тонкого взращивания параллельной идейной системы с участием известных вам националистических сил, и прошу..., прошу не сомневаться во мне и в том эффекте, к которому придем. Непременно придем!

Президент продолжал молчать, точно был один. Товаров покрылся испариной, но вдруг лицо его залила краска, и он почти выкрикнул:

– Это могу только я! Только я. Кому, как не гроссмейстеру, играющему на одной доске в имитационной партии и белыми и черными фигурами, заранее зная все ходы и сам исход сражения!

То был не эмоциональный взрыв, а тонкий психологический расчет: грубая искренность в привычной «византийской» среде верховной российской власти, смесь восточной горячности с холодным прагматизмом западного образца, должны были вызвать своего рода оздоравливающий шок.

Президент еле заметно, наконец, кивнул и даже в самые краешки его сухих губ вкралось некое подобие улыбки.

Товаров теперь уже деловито продолжил, будто не видя этого:

– Я предлагаю подробное досье на одну американскую компанию, известную высокой эффективностью на мировом рынке подобного рода услуг. По-моему, они способны даже объявить Тутанхамона живым и энергичным парнем, да еще убедить в том целый мир! Но за все следует платить. И очень, очень немало, а также особым образом подтвердить их полномочия у нас. Исполнять беспрекословно, не рассуждая, не умничая, как у нас это принято. Даже если что-то вдруг покажется как будто вредным, недалеким и даже комичным. Главное – результат. А он непременно будет! Контакты с компанией должен поддерживать лишь один человек, чтобы не вносить во весь этот долгий процесс нашей российской неразберихи... и не смазать бы все алчностью посредников. Этим людей привел я, и я готов ответить за все, что будет ими сделано. Лично перед вами.

Президент вновь кивнул.

То был не единственный разговор. Дальше круг участников был несколько расширен. Споры вокруг того, стоит ли впускать в свое интимное державное пространство посторонних иностранцев, а особенно американцев, пусть и представленных крупной компанией, известной своим цинизмом, но и эффективностью, наконец, улеглись. Товаров сам предложил генерала Смирнова главным ревизором проекта с гигантским бюджетом. Президент подписал распоряжение, и дело сдвинулось с мертвой точки. Больше деньги из того хранилища в разные стороны не расплзались.

Товаров тогда, как и прежде, не назвал имени одного из основных «выгодополучателей» от внебюджетных финансовых средств, особых услуг, да и прочих усилий, а именно – Даниила Любавина. Он посчитал это преждевременным. Туз, а он для себя и в некоторых секретных бумагах именно так Любавина и называл, ведь еще не из козырной масти, а такого может побить даже какая-нибудь козырная «шестерка».

Денежная масса очень скоро оживила не только рутинный рынок российских пропагандистских ремесел, занятый до того лишь растаскиванием государственного бюджета на выборах разного уровня, но и поколебала хладнокровную природу генерала Смирнова. Все вдруг заметили, что тот вдруг округлился, расхолился, подобрел и лицом и телом. У Товарова больше не было опасных конкурентов.

Американская компания получила в пользование огромный офис в самом центре столицы, мощную охрану, расчетные счета в трех крупных российских банках и те широчайшие полномочия, на которых настаивал Товаров.

Сколько денежных средств утекло агентству, сколько пробило себе собственный фарватер, на сколько рек и ручейков поделились эти бурные воды ответить не смог бы ни один ревизор. Это был бесконечный простор, в котором ясно ощутимы лишь мощные течения, но и совершенно неиссякаемы более мелкие, тайные струи, которые, объединяясь, могли бы, пожалуй, поспорить и с главным потоком.

Этот изобильный денежный фонтан составил серьезную финансовую поддержку и самому Товарову, но и тем, кого он предусмотрительно щедро окропил драгоценными брызгами.

Сначала многие поговаривали, что именно это, столь мелкое по своей сути и столь богатое по результату, и было единственной его целью. Но так судили лишь те, кто страстно ревновали

вал его к верховному правителю России или же – еще неспособные заглянуть в самую глубину его рафинированного мышления.

Материальная выгода, по мнению Товарова, является обязательным сопровождением любой сделки, даже в том случае, когда ее содержание хранит исключительно идейное ядро. Однако именно это ядро стоит дороже всего – как впечатляющая разница между целой жизнью и любых размеров сундука со всеми сокровищами мира.

Новые условия

Уже в Москве майор Федор Разумов вдруг восстановился в полиции, став комбатом в одном из полков ОМОНа, расквартированном где-то в ближайшем Подмосковье. Кто и как посодействовал его трудоустройству в полицию после известного увольнения в сибирском городке, так и осталось для большинства загадкой. Об этом сплетничали в окружении Приматова, недоверчиво косились на поэта-полицейского, но никто не посмел обвинить майора в двурушничестве или в беспринципности. Ким Приматов однажды на литературных чтениях (так он называл не без оснований заседания их полуподпольного клуба «русских социалистов») обвел всех суровым взглядом и потребовал раз и навсегда прекратить обсуждать всякие вопросы, связанные с личной жизнью и с профессией членов клуба. Это, дескать, неверно в корне. Нет ненужных для народа профессий, если они не приносят вполне очевидной пользы государству и нации. Банкиры и те полезны, если работают на благо страны, а не только на собственные карманы и на проворовавшихся чиновников. А уж полиция нужна! Не та, что охаживает дубинками почем зря народ, а та, что его бережет. ОМОН, мол, разным бывает не столько от того, что делает по приказу диктатора, а от того, как он это делает и кому соперничает. Тирания, порой, бывает ненавистна и самой полиции, которая постепенно становится уже не столько источником давления на массы, сколько истомленным ретранслятором беспощадных приказов верховной власти и прежде всех остальных испытывает на себе ее мощный пресс. Нередко именно там зреет скрытый протест, особенно опасный для власти сатрапа из-за прочных солидарных связей внутри хорошо вооруженного и профессионально обученного полицейского сообщества. Многие политические перевороты в мире именно по этой причине стали не только возможны, но еще и успешны. Нужно вести в этой среде терпеливую тайную работу, привлекать на свою сторону как можно больше людей, но в то же время не увлекаться этим, помня, что в таких тесных и дисциплинированных коллективах всегда есть место своим «иудам». Они могут сорвать дело.

Любавин тогда криво посмотрел на Приматова и ухмыльнулся. Соловьев лишь неопределенно пожал плечами, остальные же смущенно потупились, но разговоры на эту тему тогда прекратили.

К затаенному обсуждению роли Разумова в деятельности организации все же вернулись через полгода, когда он был направлен в составе полка в Новороссию, под Луганск. Полицейских переделали в форму без знаков различия, неопределенной расцветки, навесили так называемые «разгрузки» и переправили через вполне условную границу. А спустя две недели туда, к Федору, поехали с очередным гуманитарным конвоем сначала Любавин, а затем, сразу за ним, и Соловьев. Принял их и разместил в брошенном доме богатого украинского базарного торговца, дав сопровождающих из местных ополченцев, как раз майор Разумов. Тогда стало понятно, что имел в виду Ким Приматов, когда сказал о принципиальной разнице в полицейских. Он, оказывается, знал больше, чем говорил, хотя кто бы в этом сомневался!

Но и по очередной кривой усмешке Любавина тоже можно было понять, что он не только догадывался, но даже знал о новых политических условиях так называемого подполья «русских социалистов». Увидев все это и крепко обдумав, Соловьев чуть было не поссорился с Любавиным, с которым за последние два года жизни того в Москве сдружился. Они ведь даже стали выпускать два раза в месяц политический журнал с яркими интервью и с репортажными снимками из горячих точек, с некоторых важных правительственных совещаний, с заметных или, напротив, скрытых от общественного контроля и глаз, событий. В Интернете появился более полный аналог журнала, аналитичный и оперативный. Деньги на все это приносил Любавин. Соловьев догадывался, что они приходят из тех рук, которые им самим же и были названы Киму Приматову и самому Любавину после беседы с доверенным человеком Товарова. Андрей

задал один раз вопрос об этом Любавину, но тот отмахнулся – не дело, дескать, говорить на темы, далекие от его компетенции.

Соловьев попытался возразить, но Даниил Любавин вдруг посерьезнел еще больше и сказал, что в их святой борьбе за справедливое распределение общественного продукта на разных ее этапах хороши разные же и методы. И допустимы! Если наверху находится кто-то, способный составить им, в определенном смысле, компанию в деле, поддержать финансами или организационно, предупредить или защитить, и если идеи его руководства в чем-то совпадают с идеями и даже с некоторыми целями их подполья, то почему бы не принять помощи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.